

АЛЕКСЕЙ КРУТЕЦКИЙ

ШКОЛА НЕНАВИСТИ

24 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

АЛЕКСЕЙ КРУТЕЦКИЙ



ШКОЛА НЕНАВИСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ЛЕНИНГРАД 1964

РИСУНКИ А. ОВСЯННИКОВА

Писатель старшего поколения Алексей Константинович Крутецкий правдиво нарисовал картины старого Петербурга последних лет самодержавия. Основной мотив повести — горестная жизнь детей рабочих Московской заставы. Автор с любовью раскрывает внутренний мир героев Алеши и Коли, их настойчивое стремление к справедливости, показывает неоднократные победы мальчиков, их радость ощущения нового, особенно после выступления Владимира Ильича Ленина.

Правдиво показанные в повести исторические события воспитают в юном читателе ненависть к прошлому, к капитализму, научат глубже, яснее видеть, любить и ценить наше радостное социалистическое настоящее и самоотверженнее трудиться и жить во имя еще более светлого будущего — коммунизма.

В основу книги положены эпизоды из жизни автора.

В Новодевичьем монастыре ударили ко всенощной. Серебряные звоны малого колокола поплыли, словно круги по воде, расходясь, расплываясь все дальше и шире от Обводного канала до Волкова поля, Румянцева леса, от Варшавского вокзала до Лиговской улицы.

Монастырю отозвался гудящий колокол Мещанской церкви на Забалканском проспекте. Вторя ему, задребезжал, будто надтреснутый, колокол ремесленной церкви на Лиговке. Подхватил эти звоны и дальше понес их певучий колокол Спасо-Преображения за триумфальной аркой. Затараторили, заторопились колокольца церкви Чебыковской богадельни.

Плывущие звуки сливались в один общий гул, обволакивали заставу и, казалось, уносили ее куда-то далеко, далеко. А оттуда, издалека, с Московского шоссе, эхом откликался колокол Чесменской богадельни.

Суббота. Рабочим выдали получку — и не только на больших, но и на всех малых заводиках, фабричках: на чугунолитейном Озолинга, на лаковом заводе, на обойной фабрике Рикса, на макаронной...

Распахнули окна и двери все чайные и трактиры: «Орел», «Карс», «Стоп-сигнал», «Биржа», «Звездочка», «Кашин». Из окон всех этих питейных заведений хозяева выставили на улицу блестящие и цветистые граммофонные трубы и заывают посетителей: «Кари глазки, где вы скрылись», «Разлука ты, разлука», «Барыня-барыня, сударыня-барыня».

Со всех сторон кричат граммофонные трубы, заывают рабочих выпить рюмочку водки. Гудят колокола церквей, зо-

вут к вечерней службе. Певучий колокол Спасо-Преображения напоминает и о «духовно-нравственных» беседах. В трехэтажном доме при этой церкви собираются «братья-трезвенники» проповедовать слово божие, учить людей терпению, послушанию, покорности.

В небольшом зале рабочие и работники, разговаривая шепотом, чинно усаживаются на длинные скамейки, лицом к возвышению, похожему на церковный амвон. На нем так же, как и в церкви, стоят большие иконы в дубовых резных иконалах, на стене — большие портреты царя и царицы.

Ребятишки, босые, без шапок, в рубашках без поясов, тоже присаживаются куда-нибудь в уголок на скамеечку. Если же на скамейках места нет, устраиваются на полу.

Сегодня там расскажут и покажут туманные картины «Отчего погиб Иван».

«Братья-трезвенники» в хороших костюмах, пожилые, бородатые, развешивают на стене полотно, похожее на большую простыню, в зале на возвышении устанавливают и зажигают «волшебный фонарь».

Гаснет свет. На полотне появляется первая картина: молодой парень, опрятно одетый, гладко причесанный, держит в руке маленькую рюмочку. Рядом с ним за столом — пожилые рабочие смеются и заставляют Ивана выпить.

— Так каждый заблудший брат наш когда-то держал первую рюмочку... — в темноте и тишине звучит голос «брата», ведущего беседу.

Картины сменяют одна другую. Иван уже без сапог и фуражки шатается у фабричных ворот. Сторож не пускает его на работу, стоит у калитки, раскинув руки.

Вот и следующая картина: оборванный, грязный Иван в полицейском участке. Околоточный, пожилой, с бородкой, усами, добродушный и кроткий, похожий на священника, потечески просит Ивана не пить водку, образумиться, но Иван не слушает, машет рукой.

— Всякая власть от бога, но Иван не внемлет и власти... — поясняет тихий голос.

В темноте слышны глубокие вздохи женщин, молчат мужчины, притихли мальчишки.

Вот и последняя картина. Погиб Иван. Он в изорванной рубашке, лохматый, одной рукой держит за волосы плачущую жену, а другой замахнулся на ребенка. На плече у него уже сидит черт, похожий на обезьяну.

Вспыхивает свет. Женщины вытирают лица платками. Все встают, беседа заканчивается пением. «Брат», проводивший беседу, запевает, и все подхватывают: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое. Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу...»

Уходит народ, тихий, словно придавленный гибелью Ивана. Нехотя уходят и мальчишки. А завтра, в воскресенье, они опять придут сюда смотреть другие картины и слушать беседу «О блудном сыне».

Этот церковный дом, с туманными картинами, духовными беседами по вечерам и в праздники, был хорошо знаком детям рабочих. В нем помещалась единственная за заставой церковноприходская школа. В дни учебы, по утрам, в этом доме грязные и голодные дети заполняли маленькие классы-комнаты. В большую перемену в этом зале мальчишки играли в чехарду, хвастаясь силой и ловкостью. Через минуту — две после начала большой перемены самые ловкие и сильные мальчишки в наказание уже стояли на холодном плиточном полу на коленях.

Духовно-нравственные беседы заканчивались рано, чтобы рабочие, придя домой, могли не торопясь поужинать, пораньше лечь в постель и быть готовыми трудиться завтра.

В эти вечерние часы, особенно после получек, левая, торговая сторона Забалканского проспекта бурлила, клочкотала. У панелей толпились мелкие торговцы, разносчики разных товаров, громко кричали: «Чулки, носки, туфли!», «Духи, помада, гребешки, расчески!», «А вот Черт Иваныч ныряет на дно морское, достает счастье людское!» Торговец людским счастьем нажимает на резиновую пробку — и маленький черненький чертик опускается на дно большой бутылки, наполненной розовой жидкостью, и «достает» за копейку записочку со счастьем.

На углу проспекта и Заставской улицы — газетчик, в грязной, длинной шинели, обшитой красными кантами, в большой фуражке, наползающей на глаза, кричит неистово. «Петербургская газета», «Новое время», «Петербургский листок», «Речь», «Газета-копейка», «Синий журнал», смешной «Сатирикон», «Драма на море, беда в коридоре» — он размахивает газетами, журналами и получаемые медные монеты опускает в большой кожаный кошель, повешенный через плечо.

Вот из «Орла» выходит рабочий чуть под хмельком.

— Извозчик! — громко кричит он, хотя извозчик и стоит у панели рядом.

— Пожалуйте! — так же громко отзывается извозчик, чтоб окружающие слышали и обратили внимание на щедрого седока.

За заставой были свои извозчики-старики. Дальше Обводного канала их не пускали околоточные, не позволяли позорить город ободранными пролетками и полумертвыми клячами.

— В «Карс»! — приказывает седок, садясь в пролетку, небрежно закидывая ногу на ногу, доставая коробку с папиросами.

— Берегись! — кричит извозчик, размахивая кнутом и поправляя сползающую на глаза шапку.

Брум-брум-брум!.. — бренчат тяжелые подковы о булыжник. Лошадь качает головой с огромными отвислыми губами.

— Тпру-у! — извозчик привстает на козлах и натягивает лохматые веревочные вожжи. Лошадь уже у дверей «Карса», на углу Заставской улицы. — Ишь ты, дьявол! — добавляет он, укрощая своего разгоряченного рысака.

От «Орла» до «Карса» не более ста шагов. Седок, не успевший закурить, прячет коробку с папиросами, лихо спрыгивает с пролетки, достает из кармана монетку, не глядя на извозчика, небрежным жестом богатого человека отдает ее и скрывается за дверью трактира.

— Благодарим покорно! — кричит вдогонку извозчик, зная, что этот седок выпьет в «Карсе» рюмочку, через минуту — две выйдет и опять крикнет: «Извозчик! В «Стоп-сигнал»!» И повезет извозчик его дальше по проспекту, к Путиловской железнодорожной ветке в двухстах шагах от «Карса»!

Смолкает колокольный звон. На тихой правой стороне проспекта, на «холостой дорожке», появляются молодые люди. Кавалер — в новеньком бумажном костюмчике, при галстучке, с тросточкой в руке. Пиджак — нараспашку, так, чтобы была видна жилетка и блестящая цепочка от часов. Барышня, в длинном платье с бантами, с брошкой на груди, гладко причесанная, идет медленно, опустив голову.

Гуляют парочки, ходят по «холостой дорожке» — деревянным мосткам, проложенным от триумфальной арки — мимо ворот «Скорохода», вагоностроительного завода Речкина, мимо церкви Спасо-Преображения, до Путиловской ветки.



У ворот на скамеечках сидят сторожа, дворники. Городовые — рослые, румяные — ходят по тротуару медленно, вперевалку, наблюдают за порядком. Околоточные надзиратели в голубых шинелях, лакированных сапогах, появляются редко. Они только окидывают взглядом свои владения и уходят куда-нибудь в тихий уголок пить водку.

Доживает конка свои последние дни. В центре города появился трамвай, и она уже ползает только по заставе, от Обводного канала до Путиловской железнодорожной ветки.

Вожатый длинным кнутом беспрестанно стегает двух кляч, плетущихся с опущенными головами. Дребезжат стекла, дрожит, трясется и весь узенький двухэтажный вагончик. В нем сидят люди пожилые, почтенные, а на нем — на крыше, имперiale, — молодежь.

Уходит конка навсегда. Бродячие артисты, давая свои концерты по дворам, чайным, трактирам, под звуки балалаек и гитар поют песни собственного сочинения: «Эх, старушка конка, догони ребенка...»

Близится ночь. словно охрипли и перестают кричать граммофоны. На бойкой стороне проспекта все громче и громче раздаются пьяные выкрики. Начинаются песни и обрываются. Подвыпившие рабочие поют о Ермаке, Степане Разине, о гибели Наполеона: «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках. Теперь с поникшей головою стою на крепостных стенах...» Поют о японской войне, о героизме, бессмертии «Варяга»...

Но вот замолкают и песни. Закрываются чайные и трактиры. Ночь наступает. На улицу выходит Исаак Хромой.

По силе Исаак не знал себе равных. Многие силачи двухпудовой гирей крестились, а он поглядывал на них и улыбался. Высокого роста, широкий в плечах, он был худощав. На лице с большим тонким носом, скулы выступали острыми кромками. И страшно было смотреть на его большие костистые руки.

Во время гуляний многие силачи приходили в Румянцев лес померяться силами. Одни садились на землю и брались за палку — кто кого перетянет, другие боролись — кто кого на землю бросит; но народ больше всего интересовался, кто кого одним ударом сшибет с ног.

Какой-то дюжий грузчик из-за Невской заставы наслушался рассказов об Исааке и однажды пришел посмотреть на него. Недолго разговаривали — бросили кверху медный пятак. Жребий пал бить грузчику первому.

Широко расставив ноги, опустив руки, немного наклонившись вперед, Исаак принял удар и... устоял. Сотни людей, следивших за поединком, замерли.

Велик, широк в плечах и груди был грузчик. Он так же чуть наклонился и подставил свою маленькую голову. Не снимая пиджака и не приноравливаясь, ударил Исаак: грузчик тоже не покачнулся, но из ушей и рта у него хлынула кровь. Он шагнул, рухнул на землю и умер.

Дело разбиралось в окружном суде. Присяжные заседатели во всем происшедшем злого умысла не усмотрели и приговорили Исаака к церковному покаянию.

После этого происшествия уже никто в открытую борьбу с Исааком не вступал, но скрытых завистников его великой силы было много.

И решили враги усмирить Исаака, поубавить ему силы. Как-то ночью подобрались они к нему спящему и перерезали жилы на ногах, под коленками. С тех пор Исаак и стал хо-

дить по заставе так, будто танцевал вприсядку. Стоять же во весь рост он мог только прислонясь к чему-нибудь спиной.

С тех пор Исаак стал еще более известным в округе и получил кличку — Исаак Хромой.

В костюме из добротного материала, в лакированных сапогах, фуражке, надетой чуть набок, чисто выбритый, всегда серьезный, Исаак, передвигаясь по улице, казался безобидным. Народ расступался перед ним, многие низко кланялись. Он же отвечал чуть приметным кивком головы.

Много было в народе рассказов об Исааке. Будто видели, как он, поспорив на крупную сумму, в воскресный день утром сел за стол и до обеда выпил четверть, то есть пять бутылок водки, закусывая только хлебом и солью. А после обеда пошел прогуляться по улицам. Но никто никогда его пьяным не видел.

В то время парни с Невской заставы враждовали с московскими, и сходились они для сражения на Волковом поле за заводом «Электросила». Вставали две партии друг против друга и по сигналу — свистку — шли в кулачный бой стена на стену.

Враждовали между собой и мелкие группы. Электросиловцы нападали на скороходовцев, кузнецы вагоностроительного завода наступали на литейщиков Озолинга.

Насколько безобиден и даже беспомощен казался Исаак, мирно передвигающийся по панели, настолько же страшен был он во гневе. Увидя своих врагов, он прислонялся к стене или фонарю и доставал из-за голенища длинный нож.

В страхе бежали враги только от одного его вида, а если не бежали, Исаак засовывал пальцы в рот, и оглушительный разбойничий свист разносился по всей заставе.

Друзья Исаака, где бы они ни были — дома, в трактире или на улице, услышав его, бросали все, бежали к нему, и горе было его обидчикам.

За заставой на фабриках и заводах вспыхивали забастовки, начинались волнения, но Исаак был далек от всех политических дел. Полиция знала это и не трогала его. Однажды сам пристав, гроза всей округи, полковник Зарецкий, в сопровождении двух околоточных, встретил Исаака на улице, остановился и, глядя сверху вниз, произнес:

— Бушуешь, Исаак?

Исаак придвинулся к фонарю, выпрямился и стал выше пристава,

— Бушую! — ответил он, так же глядя сверху вниз.

Эту неслыханную дерзость Исаака многие видели, слышали и с восхищением говорили о ней.

Ночью в полицейском участке дежурный околоточный прислушивался к свисту Исаака, ухмылялся и покачивал головой. Городовые, дворники, сидя на скамеечках, покуривали и смеялись: «Слышишь, Исаак балует!» Старухи, засыпая, крестились: «Спаси, сохрани и помилуй...» Измученные матери, укладывая детей, тихонько шептали:

— Спи! Чу, Исаак Хромой свистит!

* * *

Такой в те далекие годы была Московская застава, где жили мы с Колькой, неразлучные, настоящие друзья. Волосы у Кольки похожи на мочало, а маленькие серые глаза как будто говорят: «Только попробуй, троны!» Он морщит рыжевато-веснушчатое лицо и босой загорелой ногой чешет другую. Уши у Кольки, надорванные у мочек, давно зажили, но каждый, увидевший их, подумает: «Ишь как тебе уши-то оборвали, наверное, поделом».

Я в общем тоже похож на Кольку, но почернее его, и нос у меня подлиннее.

Мы оба без шапок и босиком сидим во дворе, у забора, на теплой земле, и думаем, как нам быть.

По эту сторону забора, у мусорной ямы, валялось ржавое железо, разный хлам. У дровяных сарайчиков, на утопанной глинистой площадке висело на веревках пестрое рваное белье. По ту сторону забора — все зелено. Ягоды смородины на кустах еще не созрели, но уже поблескивают в листве, на яблонях, точно грецкие орехи, прячутся маленькие плоды, а туго налитые груши уже тяжеловато покачиваются на ветках. Это сад хозяина литейного завода Озолинга. Он обнесен высоким плотным забором, а со стороны нашего двора еще и двумя рядами колючей проволоки.

От нас со двора влезть на забор и перебраться через проволоку в сад просто, но выбраться из сада гораздо труднее. Долго мы думали и наконец принялись делать лестницу из веревок.

Часа через два лесенка из прочных веревок была готова. Забравшись на забор, мы привязали конец лесенки к проволоке, и Колька спустился в сад. Сначала он стал торопливо

хватать ягодки смородины и вместе с листьями совать их за пазуху, потом немного успокоился и полез на дерево за грушами.

Я висел на заборе, держась за проволоку, и сердце у меня от волнения стучало отрывисто, сильно.

Вдруг за деревьями я увидел человека.

— Колька! — крикнул я, но было уже поздно...

По тропинке, посыпанной желтым песком, к нему подбежал управляющий Озолинга, высокий, толстый человек без пиджака, в белой рубашке с твердыми накрахмаленными манжетами. Колька спрыгнул с дерева и был тут же схвачен огромной ручищей. Управляющий держал Кольку за шею, и, глядя то на веревочную лесенку, то на меня, висящего на заборе, видимо, размышлял, что делать.



Ужас охватил меня: «Задавит он Кольку!» — подумал я и закричал:

— Если тронешь, все деревья вырублю... Топором... ночью! Всѣ!!

Управляющий, не отпуская Кольку, глядел на меня пристально, не шевелясь.

Тогда, почувствовав надежду, я стал креститься и кричать:

— Вот тебе крест — всё топором! Вот увидишь! Провалиться мне на этом месте!

Управляющий разжал руку, и Колька в один миг поднялся по веревочной лесенке на забор.

Спустившись во двор, мы припали к щелочке. Управляющий долго стоял, наклонив голову и размышляя о чем-то, а потом тихонько пошел по тропинке обратно.

Довольные неожиданно счастливым концом, мы с Колькой тут же уселись у забора на горячую землю и принялись грызть крепкие кислые груши. Зеленые ягодки смородины похрустывали на зубах.

— Небось испугался! — кивнул я в сторону сада. — Все они трусы, обжоры толстобрюхие!

— Кровопийцы... — хмуро согласился Колька, и в этот момент почему-то показался мне похожим на маленькую бескрылую птицу. Я положил ему руку на плечо и сказал:

— Ничего, Коля! Мы с тобой никогда не расстанемся? Да?

Колька молча кивнул и протянул мне большую зеленую грушу.

* * *

Мать Кольки работала на обоевой фабрике Рикса, и домой приходила то голубая, то синяя или розовая, — такая, какого цвета в этот день вырабатывались обои.

Моя мать называлась квартирной хозяйкой. Она снимала у домовладельца квартиру, а углы в комнатах сдавала одиноким жильцам. Им она стирала белье и готовила пищу.

Квартира у нас была во втором этаже трехэтажного флигеля на заднем дворе. Состояла она из кухни, коридора, маленькой комнатки в одно окно и большой комнаты в два окна.

В маленькой комнатке жили мы с мамой. Большая же, главная комната, с четырьмя железными кроватями по углам, сдавалась и приносила нам основной доход.

Кроме того, на кухне, в углу, за ситцевой занавеской, жил

добродушный старичок, с большими серыми смеющимися глазами — Иван Петрович. Он нигде не работал и, сидя у подоконника, читал газеты.

Каждый день, в дождик и снег, Иван Петрович уходил, как он говорил, «на прогулку», и всегда в разное время, иногда гулял и до ночи. Чтобы не было мусора в кухне, он свои письма, а иногда и газеты, сам сжигал в плите. Зажжет бумажку и держит, пока она не станет черной и не улетит в трубу.

В темном коридоре, на деревянном топчане, спал еще один жилец — тряпичник Уткин. Только мы и знали его фамилию, а все остальные жители заставы называли его просто Копейка.

Утром, закулив огромную трубку, набитую махоркой, Уткин брал железный длинный крючок, пустой мешок и шел бродить по дворам:

— Костей-тряпок! Бутыл-банок!.. — кричал он хриплым голосом, но почти все эти кости и тряпки Уткин сам доставал крючком из мусорных ям. А если ему кто-нибудь и предлагал купить изношенные галоши или сапоги, он, небрежно окинув взглядом товар, произносил: «Копейка!» — и шел дальше.

Все продукты и товары мы брали в мелочной лавке, в долг. Там было все: хлеб, чай, сахар, керосин, мыло, гвозди... А в углу перед иконой всегда горела лампадка.

Хозяин лавки Ляпков, румяный, веселый, гладил меня по голове, а иногда и угощал конфеткой. Взятые нами продукты он записывал в книжку. Мама кормила жильцов и в получку рассчитывалась с ним.

Кое-как мама сводила концы с концами.

Но однажды, накануне получки, ночью пришли к нам какие-то трое в штатском, а у дверей квартиры поставили городского. Во всех комнатах и даже в коридоре они перетрясли все тряпки и ничего не нашли, но всех четверых жильцов, проживавших в большой комнате, увели, и жильцы не вернулись. Комната опустела.

Дела наши пошли плохо, и мы совсем обнищали.

В ту пору на улицах и переулках заставы стали прокладывать канализацию. Начались большие земляные работы, и главную нашу комнату сняли пять землекопов.

Мать повеселела, и я слышал, как она хвастала соседям: «Тихие — не здешние заводские, а откуда-то издалека. Эти надежные...»

Землекопы, все рослые, похожие друг на друга, с работы приходили усталые, но веселые. Грязные сапоги и блузы они снимали в прихожей, мылись и надевали свежие рубахи.

Старшим в артели был Гаврила Иванович, пожилой человек с добрыми, всегда улыбающимися глазами. Он говорил маме, что нужно сварить: щи, кашу, картошку — и расплачивался с ней. Со мной Гаврила Иванович разговаривал смешными, складными словечками.

По вечерам, когда землекопы садились ужинать и ждали, пока мама принесет из кухни и поставит на стол огромную чашку, Гаврила Иванович громко кричал мне:

— Алешка, где твоя ложка?!

Я у себя в комнате брал большую деревянную ложку, оглядывал руки — чистые ли — и шел к жильцам.

При моем появлении все пятеро землекопов смеялись, раздвигали табуретки, и я садился к столу.

Часто они ели рисовую кашу, посыпанную сахарным песком, я тоже любил ее и нередко наедался до боли в животе.

Когда я начинал есть медленнее, Гаврила Иванович подбадривал меня:

— Ты не чавкай, не глотай, чаще брови подымай! — И опять все смеялись.

Маме Гаврила Иванович приказывал:

— Хозяюшка, ты кушай, не стесняйся. Песок вот здесь, — он указывал на мешочек с песком, стоявший на полочке.

По вечерам мать вставала перед иконой и, обращаясь ко мне, тихонько говорила:

— Вот каких людей нам господь-то послал, Алешенька. Наконец-то и нам счастье выпало.

Но вскоре опять случилась беда. Кто мог подумать, что у землекопов в жестяном чайнике и в старых валенках окажутся листки — против полиции, против царя.

Увели не только всех землекопов, но и проживавшего на кухне Ивана Петровича взяли, будто бы за то, что у него были чужие документы.

Во время обыска на кухне полицейский толкнул Ивана Петровича, приказал ему одеваться скорее. Иван Петрович, всегда любезный и добродушный, на этот раз тихо сказал:

— Крови захотел, скотина! — и, закинув руки за спину, грудью пошел на полицейских. В больших серых его глазах сверкнул огонь. Двое пришедших вытащили револьверы, а третий крикнул:



— Мы просим вас по-человечески! — и больше они уже никого не толкали.

Мать горько плакала: очень жаль было ей землекопов, да и нечем стало платить долги Ляпкову. Лавочник давал нам теперь все самое плохое, а в книжку вписывал втридорога. Не брать же у него продукты тоже было нельзя. Он заставлял покупать товар только у него или требовал уплатить долг немедленно. Он угрожал и в то же время, смеясь, говорил маме:

— А в долговую яму не хочешь?

За неуплаченные долги сажали в тюрьму — долговую яму.

Сильно загоревал и я. Ляпков страшит, домовладелец за квартиру деньги требует, угрожает выбросить нас на улицу, а доходов нет. В квартире живет только один тряпичник Уткин.

Долго мы с мамой так бедствовали. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не пришла вдруг великая радость. Откуда-то издалека мы получили письмо и почтовый перевод на деньги. Землекопы прислали нам свою задолженность, с большой прибавкой. Кроме того, они писали, что дарят нам и все имущество: одеяла, подушки, сундучки, котомки с бель-

ем. Вместе с ними, там вдалеке, был и Иван Петрович. Он тоже подарил нам все, что у него осталось в большом чемодане и лежало на кухне.

Мы с мамой пошли на почту и, получив там деньги, отправились прямо к Ляпкову.

— Сколько я вам должна? — строго спросила мама.

Удивленный Ляпков пощелкал на счетах и объявил сумму.

Мама положила деньги на прилавок и шагнула к выходу.

— Ну теперь уж лучше по миру с протянутой рукой пойду, — проговорила она, — но больше к тебе в лапы не попаду!

— Ладно! Это мы еще посмотрим! Возьми сдачу-то, — ухмыльнулся Ляпков, указывая на медные монеты, лежавшие на прилавке.

— Это оставь себе на свечку! — сказала мама (что в ту пору означало: возьми себе на гроб) и, взяв меня за руку, вышла.

Вскоре появились и новые жильцы.

В большой комнате, где раньше жили землекопы, поселились две рабочие семьи, а на кухне, за ситцевой занавеской — маленькая старушка Марья Максимовна.

* * *

По имени нас с Колькой почти никто не называл, но «Архимандрита» и «Горшка» многие за Московской заставой знали отлично.

«Архимандритом» — этим обидным прозвищем наградил меня тряпичник Уткин, и вот по какому поводу.

Когда окончилось мое трехлетнее обучение в школе, мать нарядила меня в новую ситцевую рубашку, в начищенные до блеска штиблеты, оставшиеся после умершего отца, поцеловала и отправила на экзамен.

Сколько горя приносили мне эти огромные штиблеты, когда я надевал их в праздники, торжественные дни. Я был уверен, что все люди глядят на них. В большую перемену в коридорах школы мальчишки наступали на длинные носы штиблет и толкали меня. Девочки же стояли в стороне, глядели и смеялись. Я плакал, умолял мать купить мне какие-нибудь другие сапоги, но у нее не было денег.

Класс нашей церковноприходской школы к экзаменам был украшен зеленью. Ветви только что распустившихся березок выглядывали из-за иконы в переднем углу и стояли в ведер-



ках на подоконнике. На длинном столе, окруженном стульями и покрытом белой скатертью, лежала большая пачка евангелий в желтоватых переплетах.

Мы сидели притихшие, не знали, какие бывают экзамены, и ждали чего-то страшного.

Учительница Олимпиада Васильевна, высокая, одетая в черное платье с белым воротничком и белыми манжетами,

вошла в класс, беспокойным взглядом окинула нас и тут же вышла.

Но вот настоятель Спасо-Преображенской церкви священник отец Сергей широко распахнул дверь и низко склонил голову. Мелкими шагами, опираясь на длинный посох, в класс вошел владыка. Он был в длинной рясе вишневого цвета, его белая борода почти закрывала большой серебряный крест на груди.

Вслед за владыкой вошли четыре монаха в черных рясах, с черными бородами, полные, высокие, похожие друг на друга. Последней в класс вошла Олимпиада Васильевна. Большие серые ее глаза были встревоженными, на бледном лице появлялись и пропадали красные пятна.

Дежурный по классу прочитал перед иконой молитву. Владыка перекрестил класс и опустился на стул. По бокам за стол сели по два монаха. Отец Сергей и Олимпиада Васильевна встали с правой и левой стороны стола.

С замиранием сердца ожидал я, что будет, и не спускал взгляда с Олимпиады Васильевны, понимая, что она боится за нас. Для меня она была самой красивой и умной. Не знаю почему, но мне казалось, что она скоро умрет, и от этой мысли слезы подступали к горлу.

Когда в классе кто-нибудь из мальчишек начинал вести себя очень плохо, Олимпиада Васильевна вставала из-за стола, брала озорника за ухо и ставила в угол на колени.

Я был не лучше других. И вот однажды, впервые, Олимпиада Васильевна подошла к моей парте и хотела взять меня за ухо. Я мотнул головой, вырвался. Она рассердилась и схватила меня за волосы. Я опять мотнул головой, снова вырвался.

— В угол! — закричала она.

Я пошел и покорно стал в угол. Этого было мало: в углу полагалось стоять — и все стояли — на коленях. Она подошла и стала нагибать меня, повторяя:

— На колени! На колени!

— Не встану! — крикнул я, думая: «Пусть выгоняет».

Олимпиада Васильевна как будто напугалась. Она долго смотрела на меня, потом тихо сказала:

— Выйди за дверь!

Я вышел, стал тут же в коридоре у дверей и простоял минут пять. Олимпиада Васильевна приоткрыла двери из класса:

— Иди на место!

Я сел за парту.

С тех пор Олимпиада Васильевна не ставила меня в угол. Может, она почувствовала, как я люблю ее. Иногда, увидя меня за какой-нибудь шалостью, словно напоминала:

— Не стыдно?!

Я так терялся от этого слова, что даже пот выступал на лице. Мне казалось, что какая-то невидимая ниточка тянется от учительницы ко мне, и я любил Олимпиаду Васильевну все больше и больше. И учиться я стал старательнее, чтобы ей было приятно.

Взглянув на владыку, монахов и как бы спрашивая разрешения, Олимпиада Васильевна назвала фамилию лучшей ученицы и шагнула в сторону от стола. Девочка в синем платье стала на ее место.

Один из монахов перелистывал тетрадку по арифметике, другой раскрыл учебник по русскому языку и велел девочке прочитать в нем страницу. Владыка сидел, положив руки на стол, опустив голову и закрыв глаза.

Всегда уверенный и звонкий голос девочки зазвучал глухо, надтреснуто.

Олимпиада Васильевна стояла, крепко прижав руки к груди, а я глядел на ее длинные пальцы и почему-то думал: «Наверное, они у нее очень холодные».

— А какие молитвы ты знаешь? — спросил у девочки монах.

— Разные, — голос девочки дрогнул.

— А вот придешь ты великим постом в церковь, станешь перед иконой — и что ты скажешь господу?

— Господи, владыка живота моего... — опять глухо зазвучал голос девочки.

Отец Сергей облегченно вздохнул. По хмурому лицу владыки проскользнула тень улыбки, и он приоткрыл глаза.

— Умница, — произнес монах, взял бланк свидетельства с фамилией девочки, заготовленный заблаговременно, и положил перед владыкой. Владыка подписал его, вложил в евангелие и этой книгой благословил девочку.

Девочка поцеловала руку владыки и, прижимая евангелие к груди, пошла из класса.

Экзамены шли успешно. Я уже ничего не боялся, а только думал, как бы ответить получше, чтобы порадовать Олимпиаду Васильевну. Я понимал, что она волнуется за нас.

Меня не вызывали долго, класс пустел, и Колька уже дав-



но ждал меня в коридоре. Наконец отец Сергей поглядел в мою сторону, словно убеждаясь, тут ли я, и вот я уже стою у стола навытяжку.

— Какие басни знаешь?— спросил монах.

— Все! — ответил я.

— А «Стрекоза и муравей»?.. — улыбнулись монахи.

— Знаю! — сказал я и стал читать ее наизусть, как учила Олимпиада Васильевна, чтобы ясно было, когда говорит муравей и когда стрекоза.

— А кто подразумевается в этой басне, знаешь?

— Знаю! Муравей — это труженик, а стрекоза — лентяй,— и, подумав, добавил: — Олимпиада Васильевна это нам хорошо говорила.

Отец Сергей что-то шепнул монаху, и тот спросил:

— А ты знаешь ли, о чем молился Христос в саду Гефсиманском?

— Знаю, — ответил я и почувствовал на себе внимательный взгляд владыки.

Из рассказов отца Сергия на уроках закона божия я так ясно представлял этот сад, будто сам бывал в нем, но сейчас не знал, с чего начинать.

Я долго молчал и наконец заговорил: о темном небе, о дорожках, освещенных луной, об огромных, притихших деревьях... Я рассказывал и добавлял, выдумывал картины сада. Деревья у меня зашатались, поднялся сильный ветер, луна скрылась за облаками, и стало темно...

Долго я рассказывал и, когда кончил, не сразу понял, что происходит: отец Сергей и Олимпиада Васильевна, словно испуганные, глядели на владыку, а он сидел, закрыв глаза, и по его щекам катились слезы.

Владыка протянул руку, и я хотел ее поцеловать, но он положил ее мне на голову, а потом сам поцеловал меня в лоб. После этого меня стали целовать все.

— Одаренный. Нам господь посылает его... — слышал я, говорили монахи.

— Позови маму. Пусть придет сейчас же, — сказал один из монахов и, улыбаясь, погладил меня по голове.

Несмотря на неожиданную доброту монахов и владыки, мне почему-то вдруг стало тревожно. Я бежал домой и думал: «Зачем же им мама? Почему они так хорошо ко мне?..»

Дома, прижимая к груди евангелие с вложенным в него свидетельством, я закричал:

— Мама, иди в школу скорее! Тебя сам владыка зовет! Все зовут! Он меня поцеловал! Говорит, что я лучше всех!

Мать так и застыла у корыта с бельем, опустив руки. В кухню сбежались все: новая жиличка из большой комнаты смотрела на меня с любопытством, старуха Марья Максимовна даже испугалась, и только тряпичник Уткин, приткнувшись к косяку двери, по-прежнему невозмутимо дымил трубкой.

Взволнованная мама надела черную жакетку и достала из комода праздничную косынку.

— Ты смотри, не входи сразу в класс-то, а подожди у дверей, — кричал я ей вслед, глядя, как она, с белым платочком в руке, торопливо идет по двору, провожаемая любопытными взглядами из окон. В ожидании ее возвращения я присел к столу и принялся рассматривать свое свидетельство.

На плотном листе бумаги как будто лежала золоченая рамка. Наверху нарисован крест, а по бокам его два ангела—

две детские головки с крылышками. Под крестом славянскими буквами было написано: «Свидетельство». По одну сторону этого слова — портретик царя, по другую — царицы.

Я глядел на крест, на портреты и думал: «Церковь, владыка, царь — все они вместе. Околоточные, городовые за царя — значит, они и за церковь, владыку. Вспомнилось, как полицейские уводили Ивана Петровича и землекопов... Зачем же им мама потребовалась?»

Я так всполошил жильцов, что они ждали мать, не отходя от окна, и я, встревоженный, тоже с нетерпением ждал ее.

Наконец, она медленно прошла по двору, опустив голову и руку с белым платочком. Мы распахнули двери и столпились в коридоре.

Только однажды, в тот час, я видел лицо матери таким просветленным и торжественным. Как будто наша бедная квартира, корыто с бельем и все мы вдруг стали для нее далекими. Перешагнув порог, она, радостная и спокойная, сказала тихо, словно сама себе:

— Берут голубчика. Сам владыка благословил. Обувать, одевать, кормить, учить станут, и будет он священником.

Радостный и спокойный вид матери, ее слова будто ударили меня. Я понял, что владыка и отец Сергей хотят взять меня к себе, чтобы служить богачам, царю. Я бросился на пол, обхватил ноги матери и закричал:

— Родимая, не отдавай меня им! Дрова буду колоть, таскать, все буду делать, все, только не отдавай! И сапоги просить не буду!..

Уткин и жиличка поднимали меня с пола, уговаривали, но не могли оторвать моих рук от ног матери. Я бился и кричал:

— Убегу! Утоплюсь! Удавлюсь!

Старуха Максимовна, глядя на меня, заплакала.

Наконец мать тихо сказала:

— Встань!

Я поднялся с пола. Она вытерла мне лицо платком, поцеловала меня и сказала:

— Не отдам!

Вечером жильцы собрались на кухне и принялись обсуждать происшедшее. Пришла и соседка из квартиры рядом с сынишкой Сенькой.

Уткин, дымя неизменной трубкой, так высказывал мне свое мнение.

— Владыка, отец Сергей и монахи, они, брат ты мой, не

дураки. Почуяли в тебе выдумщика хорошего и хотели взять к себе, а ты не пошел, оказался дураком. Был бы ты похитрее — ходил бы в шелковой рясе, всегда бы здоровый, гладкий, пил-ел, что хотел, не работал. Махал бы кадилом — и полу-чил бы из тебя какой-нибудь архимандрит.

Сенька, ровесник мне, повторил мудреное для него слово «архимандрит» и засмеялся.

В тот же вечер и несмотря на поздний час я вызвал Сеньку на улицу, отвел подальше и принялся «мазать» его по щекам, приговаривая:

— Вот тебе архимандрит! Вот тебе архимандрит!

С тех пор мне стало невозможно появляться на улице. Кроме Кольки, все мальчишки теперь называли меня «архимандрит», а девочки смеялись.

Я кидался на обидчиков, не думая, сильнее они или нет, и часто приходил домой с разбитым носом. Стоишь, бывало, у крана, задрав голову кверху, чтобы остановить кровь, а во дворе кричат хором:

— Ар-хи-ман-дрит!

Моего друга Кольку Архипова стали звать Горшком значительно раньше, нежели меня Архимандритом. Как-то мы играли во дворе в казаков-разбойников. Прятались на чердаках, в подвалах и разыскивали друг друга.

Увлеченный игрой, Колька надел на голову вместо шлема эмалированный горшок, валявшийся в мусорной яме, а какой-то мальчишка так ударил по горшку, что голова вошла в него до самых плеч. Снять горшок с головы оказалось невозможно: середина его была узкой, значительно уже дна и верха.

При попытке снять горшок с головы уши и нос задирались кверху, и было очень больно. Колька плакал:

Стараясь все же снять горшок, мы надорвали Кольке уши у мочек, и по шее у него потекла кровь.

Взрослым, которые оказались поблизости, тоже не удалось помочь нам выручить Кольку из беды. Прибежала мать Кольки и, увидя кровь, заплакала.

— В больницу надо! — посоветовал кто-то.

Компания мальчишек поняла, что дело плохо, быстро разбежалась, попряталась.

Мать повела Кольку по Заставской улице на Забалканский проспект в лечебницу. Я шел за ними, отступив шагов на двадцать. Люди останавливались, глядели на мальчишку с горшком на голове и смеялись.

Я долго стоял на улице, устремив взгляд на двери лечебницы, за которыми скрылся Колька. Но вот, наконец, он появился и... опять с горшком на голове.

Тут я не выдержал и подошел к нему.

— Что же теперь делать?

— В мастерскую послали, — ответила мать Кольки, и глаза у ней были заплаканные.

И вот мы уже втроем спустились в подвал, в мастерскую по ремонту самоваров, керосинок.

Старик-хозяин, увидя Кольку, снял очки и хлопнул себя руками по бокам.

— Как же он попал туда головой? — удивился он и долго смеялся. Потом надел очки, взял тяжелые ножницы, режущие железо, и осторожно разрезал ими горшок.

С тех пор Колька и стал «Горшком».

* * *

Московское шоссе было узкой полосой, замощенной крупным булыжником. По его обочинам тянулись глубокие канавы, заросшие крапивой, осокой. В теплые весенние вечера из канав далеко по округе разносилось неумолчное, разноголосое кваканье лягушек.

По левой стороне шоссе, сразу же за мостом путиловской железнодорожной ветки, за высоким дощатым забором стояли низкие корпуса завода фирмы Сименс-Шуккерт, дальше, на пустыре — огороды с грядками капусты и картофеля.

По правую сторону шоссе — низкий, широкий постоянный двор казался вросшим в землю. Весной, летом и осенью он утопал в жидкой грязи. Зимой же от него, занесенного снегом, к небу вздымались тяжелые клубы пара.

За постоянным двором начинался кустарник, а еще чуть дальше и Румянцев лес. Отделенный канавой от шоссе, он тянулся к Пулковским высотам.

Этот лес был самым любимым местом отдыха для рабочих заставы. В праздничные дни, летом, солнце только еще начинало золотить верхушки берез и елей, а рабочие семьи располагались под их душистой сенью. Мужчины несли чайники, корзинки с посудой, закуской, матери вели за руки и несли на руках ребятишек. На облюбованном месте на траве расстилали салфетку, расставляли чашки. Отойдя в сторону, в ложбинку, глава семьи разводил маленький костер из валежника и, покуривая, принимался кипятить воду.

Ребятишки побольше копошились вместе с отцом у костра, малыши ползали по одеялу, разостланному на теплой земле.

Особые любители попить чайку на свежем воздухе приносили с собой даже самовары и согревали их сухими сосновыми шишками. Смолистый дымок вился струйками и приятно щекотал ноздри.

Тихо, мирно начинался праздничный день. А рабочие шли и шли. Народу в лесу становилось все больше и больше. Друзья присаживались к друзьям, незнакомые становились знакомыми. У мужчин речь заходила о заработках, порядках на заводах, у женщин — о детях, семейных нуждах.

К полудню в лесу уже раздавались звуки гармоники и кое-где начинала гулять песня.

Петь больше всего любили рабочие-старики, сидя и лежа на травке вокруг бутылочки.

Мы с Колькой ходили по лесу и прислушивались к песням.

Вот седой старик, с пожелтевшими от махорки усами, запевает песню-сказку про рабочего Ивана. В шапке-невидимке Иван проникает всюду, сам оставаясь невидимым, неуловимым.

В самые страшные для Ивана моменты вдруг начинается припев о шапке-невидимке, и все с облегчением вздыхают, смеются.

Много терпит Иван, сидит он в тюрьме, приговоренный к виселице. Остается только накинуть ему петлю на шею, но шапка-невидимка у него с собой, и он надевает ее.

Так дорог и так мил нам с Колькой этот Иван, идущий на смерть за рабочих, что от страха за его судьбу мы дрожим, а от великой радости за его успехи у нас ком подкатывается к горлу и на глаза навертываются слезы.

Песня подходит к концу. Старик рассказчик-запевала повышает голос, изображая Ивана, проникшего во дворец к царю и требующего у него ответа:

А кто пашет, сеет, жнет,
Плавит медь и сталь кует?..

Предчувствуя гибель, царь в страхе зовет на помощь. Сбегают слуги, придворные, но —

Слуги к Ваньке тянут лапки,
А Иван опять уж в шапке.



Закончив песню, старик внимательно оглядывает слушателей и обращается к нам с Колькой:

— Свистеть умеете?

— Умеем! — отвечает смущенный Колька.

— Вот вам, — старик достает из сумки два толстых бублика и протягивает их нам. — Как фараоны появятся, так и свистите.

Мы с Колькой берем бублики, отходим в сторону, поближе к канаве, так, чтобы было видно шоссе, садимся на землю под дерево, едим бублики, смотрим вдаль и прислушиваемся.

А старик уже запел про попа и черта. Теперь к нему присоединились еще несколько голосов и поют уже хором:

В шапке золота литого
Пред обрванной толпой
Проповедовал с амвона
Поп в одежде парчевой...



На шоссе по крупному булыжнику припрыгивают, тархтят крестьянские телеги, по тропинке рядом с канавой идут редкие прохожие.

В это время черт случайно
Мимо церкви проходил...

Отчетливо разносится по лесу хрипловатый голос старика-запевалы. А вдали, на шоссе, у моста вдруг показываются всадники. Мы с Колькой перепрыгиваем через канаву, выбегаем на середину шоссе и, прикрывая глаза от солнца, пристально вглядываемся в ту сторону.

— Фараоны! — шепчет Колька и глядит на меня.

— Фараоны! — говорю и я, уже хорошо различая черных лошадей, появившихся на шоссе.

Мы опять бежим, перепрыгиваем канаву и останавливаемся на опушке леса. Колька, засунув пальцы в рот, свистит так, что худое веснушчатое лицо его багровеет, глаза выпячи-

ваются, а поперек лба вздувается жила. Я тоже свистел неплохо.

На наш сигнал отзывается так много посвистов, что кажется, будто лес гудит и качается.

Женщины в один миг собирают посуду в корзинки, детей берут на руки и на всякий случай уходят на другую сторону шоссе, к домам.

Рабочие, прекратив песни, подвигаются ближе к канаве, чтобы видно было шоссе, и садятся на траву.

Городовые, на крупных черных лошадях, всегда отрядом всадников в пять — шесть, с околоточным во главе, проезжают по шоссе медленно, словно на прогулке. «Пронесло», — думаем мы с Колькой, и отдых продолжается.

Но вот однажды на шоссе появился какой-то подвыпивший рабочий, он шел вдоль канавы и пел песни.

Городовые приказали ему замолчать, но он не послушался. Тогда околоточный стегнул его нагайкой, и рабочий упал в канаву. В тот же момент из леса полетели камни, и один из них, большой, попал городовому в голову. Околоточный выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в воздух. Городовые направили лошадей через канаву в лес, но лошади, поднимаясь на дыбы, не шли. Отряд повернул и умчался обратно, оставив раненого на дороге.

Скоро на шоссе появилось много городских, а со стороны Варшавской железной дороги лес начали оцеплять солдаты, но в нем никого уже не было.

Мы с Колькой прибежали к себе во двор и сели на подоконник, на лестнице.

— А если узнают, что мы свистели, — тихонько говорю я. Колька молчит, нахмутив брови, долго думает и решает:

— Там тыща человек свистели. А мы при чем?

Я вспоминаю, какой оглушительный свист разносился по лесу, и мне становится спокойнее.

* * *

Сильнее всего мы с Колькой ненавидели детей домовладельцев и всех богачей Московской заставы, будущих гитлеров. Они за большие деньги учились в частном приготовительном училище на проспекте у Триумфальных ворот.

По утрам мы шли к себе в школу босые, без шапок, засу-

нув букварь и тетрадку за пояс; они — все в хороших ботинках, коротких штанишках, румяные, пухлощечкие. Многих провозжали няни.

— Приготовишки, мокрые штанишки! — кричали мы, показывая им кулаки.

Но по утрам, бывало, мы только угрожали нашим врагам. а в бой вступали уже после занятий в школе.

Увидит Колька румяньего, толстенького приготоишку, идущего домой без няни, и закричит:

— Клоп ползет!

Подбежит к нему, остановит:

— Что, клопище, обжора толстомордая, попался?

Если приготоишка дрожал и плакал, Колька с презрением давал ему пинка или подзатыльника, и этим дело кончалось. Если же «клоп» вставал в оборонительную позу, — а это бывало очень редко, — Колька радовался. Он локтем отстранял меня и, выпятив грудь, шел на врага.

Однажды мы остановили «клопа», который был больше нас и, по-видимому, сильнее. Мы рассчитывали на его трусость. Он трусом и оказался, но все-таки получилось плохо.

— Ах вы, черти голодные! — выкрикнул тот в ответ на наши угрозы, ударил Кольку кулаком в живот и побежал. Я бросился вдогонку, но, оглянувшись, увидел, что Колька упал и не встает.

Раскрытым ртом он хватал воздух, пытаясь вздохнуть, и не мог. Губы у него стали синими, а на побелевшем лице выступил пот.

— Коля! Коля! — закричал я.

Наконец Колька вздохнул и стал подниматься.

С этого дня мы стали осторожнее.

Дома я нашел две фанерные дощечки, обстругал их, сделал гладенькими, а по краям на уголках просверлил дырочки и продел в них веревочки.

На следующий день мы с Колькой повесили под рубашки по дощечке, потуже подпоясались веревочками, и никакие встречи с врагами были нам уже не страшны.

* * *

Весной сбылась наша давнишняя мечта. На крыше деревянных сараев мы построили из досок будку с решетчатой дверкой и отправились на базар покупать голубей.

На дорогах от почерневшего снега струился пар и бежали ручейки.

Чтобы прийти на базар пораньше, мы с Колькой вышли из дома чуть свет. На Кольке — длинное рваное пальто, лохматая шапка и новенькие ботинки со шнурками. На мне — теплый пиджачок, сшитый из пальто, оставленного нам жильцом стариком Иваном Петровичем, длинноногие старые штиблеты и кепка.

Денег на покупку голубей, по нашим расчетам, у нас было накоплено немало.

На базаре, перепрыгивая через лужи, мы прошли стороной, мимо толпы людей, продававших разные вещи, и остановились на площади, обнесенной забором. Тут полно было всякой живности. Вокруг мычали коровы, хрюкали свиньи и испуганно кудахтали куры.

В конце площади стояли лошади. Около них толпились крестьяне в длинных армяках, накинутых на плечи, и цыгане с кнутами в руках. Голубей пока не было видно.

— Дяденька, где здесь торгуют голубями? — спросил я у старика, вешавшего на забор клетку с птицами.

— Принесут и голубей! — не глядя на меня ответил старик.

Было, видимо, еще рано, и мы с Колькой решили посмотреть, что делается на площади.

Невдалеке цыгане продавали лошадей. Один из них беспрестанно стегал своего коня кнутом и громко кричал: «Тпру!», «Стой, окаянная!». Крестьянин же, купавший лошадь, держал руку ладонью вверх и улыбался, а цыган хлопал по ней своей рукой и крестился.

Мне вспомнилось, как тряпичник Уткин однажды рассказывал: «Цыгане напоят старую лошадь водкой и продают ее, пока она веселая».

Колька теперь глядел на продажу лошадей с таким удивлением, что не заметил, как бородатый цыган потихоньку подкрался к нему и сунул в его раскрытый рот кончик кнутовища. Колька страшно рассердился, схватил камень, но бросить в цыгана побоялся, а долго морщился, плевал и вытирал рукавом губы.

Наконец, мы увидели то, что искали. Пожилой рыжеусый мужчина продавал голубя и голубку. Птицы сидели в маленьком фанерном ящичке, а рыжеусый хрипловато покрикивал:



— Парочка почтарей! Парочка почтарей! — и хитро шу-
рился, выискивая покупателей в толпе.

Узнав цену, мы опечалились. Денег у нас оказалось толь-
ко на покупку одного голубя.

— Продайте, пожалуйста, отдельно голубя или голубку! —
стали мы просить.

— Что вы, дурачки, разве можно отделять голубя от голубки, ведь их пара, — сказал торговец, окинув нас с Колькой внимательным взглядом, и вдруг предложил: — Пойдемте-ка в сторонку, потолкуем.

Он отвел нас подальше от народа и, озираясь по сторонам, стал разяснять:

— Сейчас весна, для голубей самое время. Голубка каждый день яичко положит. Через три месяца от этой парочки у вас большая стая почтарей будет! Ну, давайте ваш капитал!

Мы вынули накопленные деньги.

— Да-а, маловато, — протянул торговец и, взглянув на Колькины новые ботинки, предложил:

— Давайте сапоги в придачу!

Колька тут же на месте сел на мокрый снег и начал снимать ботинки.

— Хотя нет, не надо! — вдруг почему-то раздумал торговец и уже хотел уходить. Сердце у меня упало.

— На и пиджак в придачу! — крикнул я и в один миг сбросил с себя пиджачок.

Торговец взял вещи и деньги, отдал голубей вместе с ящичком и быстро исчез в толпе.

Радостные, мы бежали домой. Колька в длинном пальто и босиком прыгал по черному талому снегу, крепко прижимая к груди ящичек с почтарями, я в рубашке без пояса еле поспевал за ним.

* * *

Особняк владельца лакового завода на Заставской улице в летние знойные дни утонул в зелени. Окна этого белого двухэтажного здания всегда были завешены тяжелыми шторами: доктор химии Герман Стерницкий не любил шума.

В саду перед открытой верандой — огромная клумба: цветы, цветы, цветы, а за клумбой насвистывал белый мраморный амур. С его пухлых губ вместо мелодии струилась серебристая лента. В бассейне, у ног амура, рыбки лениво пошевеливали хвостами. А дальше, по сторонам узких песчаных дорожек, — шиповник и розы, большие розы покачивали головками. Груши, румяные яблоки качались на тонких ветвях и, поблескивая на солнце, выглядывали из листвы.

В стороне от особняка, за высокой железной оградой, вы-

тянулся одноэтажный корпус завода. Его окна тяжелыми решетками напоминали тюрьму.

Массивная дверь калитки в высоком плотном заборе, ведущая в сад, к особняку, была всегда закрыта с внутренней стороны. А там, за калиткой, огромная собака лениво потягивалась, высунув длинный язык.

Полакомиться грушей или яблоком из этого сада мы с Колькой и не думали, а только издали поглядывали на них.

Сад и особняк находились на углу Заставской и Цветочной улиц, и мы с Колькой, бывало, припадем к забору со стороны безлюдной Цветочной и в узкую щель наблюдаем за всем, что происходит в саду.

— Привязать к веревке грузило, какую-нибудь железу и забросить его на грушу. Веревка обовьется вокруг ветки, как завяжется... — предлагал Колька, но плодовые деревья росли далеко от забора, и достать груш или яблок таким способом было невозможно.

С наступлением зимы мы с Колькой принимались мастерить коньки. Вооружившись острыми ножами, старательно вырезали из крепких березовых поленьев сначала заготовки для коньков — трехгранные деревяшки шириною в ладонь и почти вдвое длиннее подошвы сапога. С одной стороны мы концы деревяшек закругляли, и они становились похожими на полозья маленьких санок с острой гранью внизу.

Наши коньки мы привязывали к ногам веревками. Дырочки для продевания веревок мы не просверливали, а прожигали. Накаливали докрасна конец толстой проволоки и, поставив к деревяшке, легонько поворачивали его. Клубился едкий дым, и в коньке получалась круглая дырочка.

Дома мы привязывали к ногам коньки и отправлялись кататься по гладким, скользким панелям.

Часто ездили мы к щели забора на Цветочной улице. Там, в саду, на площадке, зимой был каток для детей фабрикантов, домовладельцев.

По вечерам большие электрические лампы покачивались над катком, искрился снег, и гладкий лед, подметенный ветром, блестел как зеркало.

Приготовишки в голубых, желтых, красных вязаных костюмах, в меховых или шерстяных белых шапочках, в цветных рукавицах, кружились на льду, и коньки у них блестели как серебряные.

С темной улицы в щели нам с Колькой все это было видно так хорошо, как будто мы сидели в темном зале кинематографа и смотрели на экран.

Я любил следить за маленькой девочкой в черных рейтузиках, белой шапочке и белых рукавчиках. Она так быстро и красиво кружилась, что полы ее коротенького оранжевого казакинчика взлетали как крылышки, и казалось, что девочка вот-вот улетит.

— Коля, смотри — бабочка-ласточка! — шептал я. Но Колька сердито ворчал:

— Отстань!

Иногда Колька вздыхал:



— Мне бы такие коньки да костюм, я бы им всем показал!

И вот однажды, накануне Нового года, к нам в квартиру пришла наша домовладелица, высокая, тощая дама в длинном черном пальто.

— Я к вам относительно вашего мальчика... — ласково заговорила она, обращаясь к матери. — Вашего шалуна я хорошо знаю. Для таких детей, не имеющих своей елочки, мы в этом году устроили одну большую елку. Знаешь дом в саду у лакового завода? — обратилась она ко мне.

— Знаю! — ответил я и добавил: — Только я один не пойду, мы вместе с Колькой...

— Это его дружок неразлучный, тоже сирота, — объяснила мать.

— А можно его позвать сюда? — спросила дама.

Я прибежал на квартиру к Кольке и еще с порога закричал:

— Идите скорей к нам! Хозяйка пришла. Не бойтесь! На елку приглашает!

Колька вошел в кухню нахмуренный, а его мама робко встала у порога.

— Оба они хорошие, — расхваливала нас мама, — и в школе у них ни одной тройки. Все пятерки да четверки.

— Хорошо! — сказала дама. — Пусть идут вместе. Там покормят их, конфеток дадут и подарки будут всем обязательно. По десяти рублей за билет заплачено. — Она достала из сумочки красивые билеты, окаймленные золотыми полосками. — Только вы уж хорошенько вымойте ваших шалунов, там будет много гостей. Ваших детей встретят там и проводят, так что вам самим туда показываться не нужно, — добавила она, прощаясь.

Как только домовладелица ушла, мы сразу тотчас же стали готовиться к завтрашнему вечеру.

Максимовна и Уткин удивлялись нашему счастью.

— Десять рублей за билет — не шутка, — пыхтя трубкой и кашляя, показывал головой Уткин, — за десять рублей нашему брату рабочему целый месяц прокормиться можно.

— Да я в последний год на фабрике десять рублей в месяц зарабатывала, — завидовала и Максимовна.

У меня был большой длинный ремень с тяжелой медной пряжкой. Все мальчики завидовали этому ремню. При встрече с «клопами» и во всех решительных случаях я накручивал конец ремня на руку и наступал. Этим ремнем я никого никогда

не ударил, но «клопы», только увидя этот ремень, убежали от меня без оглядки.

Никогда и ничего я не скрывал от мамы, и, наверное, поэтому она сказала мне:

— Такую страсть надевать туда не годится. — И купила мне синенький поясик с кисточками.

Наконец наступил следующий день, и мы с Колькой в свежих рубашках, причесанные, с белыми носовыми платочками в карманах, отправились на елку.

— Молодцы, настоящие молодцы! — провожая нас, сказал Уткин. — Только пальтишки-то у вас лохматые.

— Ничего, чай, пальтишки-то снимут там, — заступилась за нас Максимовна.

У калитки нас встретил сторож, рыжий старик.

— Проходите, проходите, ребята. Вот налево, только ноги отряхните хорошенько, — ласково сказал он.

В большой светлой прихожей было тепло. Из-за дверей доносился шум, говор и долетали звуки рояля.

— Раздевайтесь, мальчики, — сказала нам молодая красивая горничная в белом передничке. — Положите пальто вот сюда, — и указала на грудку детских пальтишек, уже лежавших у вешалки на блестящем паркетном полу.

Мы засунули шапки в рукава пальтишек и положили их в общую грудку.

Рядом на большой вешалке висели мужские и женские пальто, и мы догадались, что гостей на елке уже много.

— Мальчики, проходите сюда, проходите, милые, — воскликнула высокая полная барыня, незаметно подошедшая к нам в узком, блестящем платье до самого пола. Она повела нас по коридору, ввела в большой полутемный зал, велела сесть на стулья в уголке и сказала таинственно:

— Сидите здесь и ждите.

Оставшись одни, мы с Колькой осмотрелись. В зале на стенах висели большие картины. Передняя часть зала была отделена занавеской, и мы догадались, что там и стоит елка. На стульях и креслах, составленных в зале рядами, сидели так же тихо, как мы, еще несколько девочек и мальчиков.

Издавека, из других комнат, долетал смех. К нам в двери зала заглядывали то старики, то старухи.

Наконец свет за занавеской вспыхнул ярче.

— Можно начинать, — сказал кто-то, и занавеска отодви-

нулась. Большая елка была так красива, что сначала даже стало больно глазам.

По левую сторону елки сидели хозяева: барыни, важные старики и нарядные старухи, а по правую были разложены подарки. Из длинных раскрытых коробок на нас смотрели большие куклы, лежали два барабана, возвышалась большая пачка шерстяных рубашек. Под елкой стояли маленькие белые валенки и лежало несколько пар коньков вместе с новыми черными и желтыми сапогами.

Неожиданно раскрылась боковая дверь, и к елке побежали зайцы, лисицы, медведи, петухи, гуси — переодетые дети наших хозяев. Они запрыгали вокруг елки, заплясали. В другой комнате кто-то заиграл на рояле, и неуклюжий медведь пошел плясать с маленькой белочкой, в которой я узнал девочку, так хорошо кружившуюся на коньках.

После плясок стали показывать, как зимой стрекоза пришла к муравью просить обогреть ее. Нам с Колькой все это было известно и даже противно было глядеть, как девчонка с тоненькими крылышками за плечами — «стрекоза» — стала плясать.

Мы с Колькой смотрели на елку, на танцы, но все наши мысли невольно устремлялись к конькам и сапогам. Ведь они стоили так дорого, что мы могли только мечтать о них.

Наконец все представление окончилось, и началась раздача подарков.

Седой старик в золотых очках и старушка в черном платье сели на стулья у елки, а барыня в голубом платье подвела к елке какую-то девочку и спросила:

— Что ты хочешь?

Девочка выбрала куклу, старуха погладила ее по голове и еще дала в придачу красные рукавички.

В это время два гимназиста подошли с другой стороны, не спрашивая разрешения, взяли по паре коньков и ушли.

У меня словно что-то оборвалось в груди.

— Коля, пойдем туда. Ведь видишь! — требовал я, но Колька больно ударил меня локтем.

Следующую пару коньков отдали незнакомому мальчишке, и мы слышали, как старик сказал:

— Ничего, что сапоги велики, подрастешь.

Так раздавали подарки, и мы с Колькой ждали, когда дадут нам.



— На вот тебе и шерстяные чулочки,— старуха дала мальчику и чулки.

Теперь под елкой оставалась только одна пара коньков.

— Ну вот! — шепнул я Кольке. Но в это время к елке подошел еще один большой гимназист, и, шепнув что-то старухе, взял их и вышел из зала.

Колька побледнел, встал и молча направился в прихожую.

— Коля, Коля! — пытался я остановить его, но он уже кричал горничной у вешалки:

— Отдай пальто!

— Сейчас нельзя уходить, нельзя! Сейчас будем кофе пить с пирожным, с конфетами, — успокаивала его горничная.

— Сама пей! — кричал Колька и рвал у нее из рук пальто,

— Отдайте и мне! — закричал и я.

— Чьи они? Кто им билеты дал? — спросила подбежавшая молодая барыня, пытаясь успокоить Кольку.

Но он, рассвирепев, кричал одно и то же:

— Уйди! Уйди! — и отталкивал обеих женщин.

— Отдайте! Пусть уходит! — приказала барыня и сказала, обратившись уже ко всем хозяевам, сбежавшимся в прихожую: — Посмотрите, ведь это же настоящие звери!

— Сами звери! — крикнул Колька и выбежал на улицу, хлопнув дверью.

Дома на кухне я все рассказал маме и жильцам и думал, что они будут жалеть нас с Колькой, но ошибся.

Уткин курил, кашлял и, давась табачным дымом, смеялся.

— Вишь, как вас угостили господа почтенные!

— Они нахальные. Сами пригласили и сами обобрали всё, — улыбнулась и мама.

— А я скажу, — еще мало вам. Прутом бы вас хорошенько, чтобы в другой раз к ним на поклон не ходили! — Максимовна прошамкала своим беззубым ртом и тоже засмеялась тоненьким голоском.

Так кончилась наша елка.

К щели в заборе на Цветочной улице мы с Колькой больше не подходили.

* * *

В первом этаже нашего дома жил одинокий кузнец Еремин.

Суровый на вид, небольшого роста, очень широкий в плечах, Еремин на самом деле был добродушно спокойным, как и все очень сильные люди. Мы, ребятишки, звали его «дядя Ерема», а взрослые — Еремушкой.

Придя с работы, вымывшись, дядя Ерема выходил во двор в чистой рубашке, садился на скамеечке у стены и начинал тихонько попискивать на маленькой гармошке-тальянке. Жильцы выглядывали из окон, садились на подоконники, и мы, ребятишки, тоже теснились к скамеечке.

После забастовки на заводе Речкина некоторых рабочих стали вызывать в жандармское управление. Вызвали и кузнеца Еремина.

В жандармском управлении, видя перед собой человека пожилого, степенного, полковник охраны обратился к Еремушке довольно любезно:

— Расскажи, пожалуйста, как это вдруг ни с того ни с сего у вас на заводе лопнули трубы и вода хлынула к вам в кузницу?

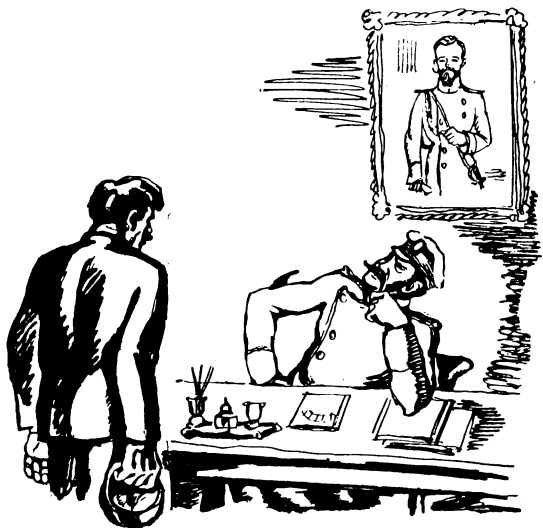
— Не могу знать! — ответил Еремушка.

— Как же так, все знают, что свинцовые трубы перерублены топором, и я знаю, а вот ты работаешь там, а этого не знаешь?

— Не могу знать. В эти дела не касался! — подтвердил Еремушка.

— А если бы знал, сказал бы? — поинтересовался полковник.

— Не могу знать! — опять ответил Еремушка.



— То есть как это «не могу знать?» Непонятно! — рассердился полковник, решив, что Еремушка все знает и только разыгрывает простака.

— Если бы я знал, кто трубы рубил, тогда бы и думал по-другому. А как бы я тогда думал, этого я не могу знать, — разъяснил Еремушка.

После таких объяснений полковник пригласил священника, решив посмотреть, как бунтовщик отнесется к присяге.

Еремушка перекрестился, поцеловал евангелие, крест и подтвердил, что не знает, кто разрубил трубы.

Когда священник ушел, полковник сказал:

— Ты, сукин сын, не только меня не боишься дурачить, но и бога обманываешь! — И, хотя никаких улик против Еремушки не было, чтобы внушить страх к богу и начальству, приказал его наказать розгами.

Придя домой, Еремушка тем же вечером поставил во дворе на скамеечку бутылку водки. Сам он на скамейку не сел, а стал около нее на землю на колени и принялся пить водку, ничем не закусывая. Лицо у него было злое, хмурое, а рыжие усы сердито топорщились.

Мы с Колькой и все ребятишки стояли в сторонке, боясь подойти ближе.

Не вставая с колен, Еремушка выпил почти всю бутылку, покурил и, вдруг растянув гармонику и глядя на этажи, громко заголосил:

Земляничинка моя,
Погляди ты на меня!

Так повторил он несколько раз.

Жильцы высунулись из окон, расселись на подоконниках, удивляясь тому, что Еремушка стоит на коленях. Тогда Еремушка встал, задрал рубаху и повернулся спиной в сторону окон. Увидев спину — все ахнули. Женщины заплакали. Мы с Колькой испугались и отпрянули от скамейки. Вся кожа со спины Еремушки была содрана.

Опустив рубаху, Еремушка обеими руками смахнул с лица слезы, подкрутил усы, допил водку и пошатываясь пошел домой.

Несколько дней Еремушка по вечерам не показывался из дома и, наконец, вышел с небольшим железным ломиком и тяжелым молотком. Он облюбовал во дворе местечко на утоптанной глинистой площадке у сараев и ломиком принялся

взрыхлять каменистую почву. Что задумал Еремушка, никто не знал.

На другой день, уже поздно вечером, Еремушка принес большой куль навоза.

— Дядя Ерема, можно помогать? — спросили мы с Колькой, поняв, что он собирается что-то сажать в землю.

Еремушка взял в руки ломик, показал нам его и сказал:

— Кто подойдет к моей работе — тому и смерть тут, и могила!

После таких слов мы больше ни о чем у Еремушки не спрашивали и близко к нему не подходили.

Когда почва была взрыхлена и удобрена, Еремушка притащил молоденький тополь вышиной в рост человека. Чтобы не потревожить корни дерева, он нес его в мешке, вместе с большим комом земли. В последующие дни он еще несколько раз приносил кустики и маленькие березки.

Не прошло и двух недель, как перед окнами нашего флигеля, в стороне от мусорной ямы, уже зеленел, как все его называли, Еремушкин сад. Лето еще только начиналось, развернулись клейкие листы тополя, затрепетали, заблестели листики березок. Женщины выносили из дома стулья, табуретки, садились к деревцам и, делясь радостями-горестями, штопали чулки, чинили белье. Спустя еще несколько дней Еремушка сделал и скамейку. По вечерам рабочие стали приходить к садику покурить, потолковать.

Чтобы оградить садик, Еремушка с четырех сторон вкопал в землю низенькие толстые столбики.

Когда, казалось, больше делать было уже нечего, Еремушка поставил на скамейку бутылку водки, положил гармошку и топор. Выпив водку, он покурил, взял топор и, размахивая им, как саблей, принялся рубить верхушки тополей и берез.

Из всех окон высунулись головы, поднялся страшный крик.

Женщины умоляли Еремушку пощадить сад, мужчины тоже пытались его уговаривать, но Еремушка не обращал ни на кого внимания.

Обезглавив деревья, он начал их выдергивать из земли, как травинки, и бросать к сараям.

Когда все было разорено и уничтожено, Еремушка растянул гармошку и, окинув взглядом окна, заголосил опять так же, как тогда, возвращаясь из жандармского управления:

Земляничника моя,
Погляди ты на меня!



Люди смотрели на груду зеленых веток, на Еремушку, и было им очень больно. Многие женщины плакали.

Еремушка уже хотел было идти домой, но увидя, что не сломана скамейка, он превратил ее в щепы, смахнул с глаз слезы и ушел.

Во дворе сразу же стало пусто и голо. Но ненадолго: дня через два — три Еремушка снова посадил березку и притащил доску для скамеечки. А в следующий вечер приволок большой, уже кудрявый тополь...

За лето Еремушка три раза разводил и три раза уничтожал сад.

Несмотря на все это, жильцы уважали Еремушку и понимали, что с ним что-то неладное.

Вскоре рабочие за заставой опять заволновались. На Сименс-Шуккерте о забастовке еще только говорили, а на заводе Речкина недовольные уже пережгли электромоторы и заглушили кочегарки. Потом рабочие вышли из цехов во двор, но охрана захлопнула тяжелые железные ворота.

Меньшая часть рабочих успела выбежать на проспект, но большая — осталась во дворе за высокой железной оградой.

С улицы появилась полиция и стала теснить рабочих.

Еремушка в это время находился на проспекте и хотел организовать нападение на полицию, чтобы освободить товарищей из-за ограды. Он подбежал к околоточному, сдернул его с лошади и ударил о землю. Толпа сначала хлынула к воротам, но конные городовые, размахивая нагайками, ринулись на нее, и она дрогнула.

Городовым помогли полицейские, переодетые в штатское. Еремушке накинута на шею ременную петлю, руки скрутили за спину и быстро уволокли его.

С тех пор никто Еремушку не видел, но говорили, что его сослали куда-то очень далеко.

Жильцы нашего дома, вспоминая Еремушку, всякий раз горячо спорили. Одни говорили, что он разводил и уничтожал сад, чтобы привлечь внимание народа, по-своему призывая его к борьбе; другие — что он, избитый, оскорбленный, таким способом заглушал в себе нестерпимую ненависть.

* * *

Иногда мы с Колькой отправлялись в кинематограф. Но прежде чем попасть туда, надо раздобыть денег. Обычно я говорю:

— Идем на Виндавку!

Колька морщится, но другого способа добыть денег на билеты в кино у нас нет. Он идет домой, берет кусок хлеба, и мы отправляемся по Лиговской улице на товарную станцию железной дороги. Там всегда много работы: с утра и до ночи выгружают дрова. Одни выкидывают их из вагонов, другие — складывают поленницами.

Работу принимал подрядчик, загорелый пожилой мужчина. На боку у него висела сумка с мелкими деньгами, за ухом торчал карандаш, а в руке белела книжечка квитанций.

За выгрузку и выкладку дров выплачивали деньги, и подрядчик тут же выписывал квитанцию.

— Дяденька, дай поработать, — просим мы с Колькой.

Подрядчик знает нас, смеется, шутливо хлопает по плечу, срывает с двери вагона пломбу, и мы принимаемся вышвыривать дрова из вагона. Пиленые, короткие дрова так и назывались: «швырок».

Взрослым подрядчик платил за работу деньгами, а с нами, мальчишками, рассчитывался дровами. Он давал нам дров, сколько каждый мог унести.

Вагон «швырка» — это много. Без отдыха мы могли выкидать полвагона, а потом ели хлеб, пили воду и опять принимались за работу. Наконец все дрова возвышались огромной горой на земле у вагона, и вагон становился пустым. Руки у нас были исцарапаны, и очень болели спины.

Я или Колька подписывали квитанцию, отбирали самые лучшие березовые поленья, перевязывали их веревочками, взваливали на спины по вязанке, прощались с подрядчиком и отправлялись к старухе Бурундучихе.

Бурундучиха сидит у ворот на скамеечке. На коленях у нее корзинка с семечками и коробка со стеклянной крышкой, наполненная конфетами.

Усталые и голодные, измученные дальней дорогой, мы с Колькой тут же у ворот сбрасываем с плеч вязанки и показываем Бурундучихе наш товар.

— Гляди, гляди! — кричит Колька, — все березовые, все гладкие, ни одного сучка!

Бурундучиха знает, что мы за дрова меньше, чем нужно, чтобы войти в «Форум», не возьмем. Она охает, морщится и, оттого что торговаться бесполезно, со злобою сует нам две серебряные монетки.

— Нате, стервецы, мошенники, грабители! Что торговала,

что нет! — кричит она и опять садится на скамеечку, а мы несем дрова к ней в сарай.

И вот мы уже поднимаемся по четырем ступенькам в «Форум». Взрослые покупают в кассе билеты, а нам, мальчишкам, билеты не дают. Хозяйка «Форума», высокая, толстая, берет от нас деньги, ведет за барьерчик, приподнимает угол тяжелой занавески и сует нас в темноту.

Мы с Колькой крепко держимся за руки, босыми ногами нащупываем себе место и садимся на пол.

Вначале на экране все мелькает так, что глазам становится больно, и только через некоторое время мы начинаем видеть.

Рядом с экраном в углу за пианино сидит старуха. Она играет и время от времени подпевает дребезжащим голосом:



«Молчи грусть, молчи. Не тронь старых ран. Сказку любви дорогой не забыть никогда, не вернуть никогда», — как бы поясняя этим то, что происходит на экране. А на нем знаменитый актер немого кино Мозжухин, во фраке и в цилиндре, сердится и размахивает белыми перчатками. Героиня — артистка Вера Холодная — плачет, и крупные слезы катятся по ее щекам.

Вдруг картина обрывается. Раздается тотчас крик, свист, на потолке вспыхивает электрическая лампочка. Мы видим: на длинных деревянных скамейках, плотно прижавшись друг к другу, сидят взрослые и вытирают вспотевшие лица, а в проходе и у самого экрана на полу устроились мальчишки.

Мы с Колькой усаживаемся поудобнее и пригибаем головы. Если их не пригнуть и они помешают сидящим сзади, то на наши головы посыплются щелчки.

Пока механик склеивает ленту, хозяйка «Форума» оглядывает сидящих на полу мальчишек, берет кого-нибудь за шиворот и говорит:

— Довольно! Уже третий сеанс сидишь! — и выволакивает его из зала.

Снова гаснет свет, и начинается «видовая» — море, волны, скалы. Но вот и «видовая» окончилась. Экран — полотно, похожее на большую простыню, раздвинулся, и образовались маленькие подмостки и на них «живой Глупышкин» в клетчатом костюме и в шляпе, похожей на мелкую тарелку. Он молча размотал удочку, насадил на крючок червяка, закинул удочку в угол сцены и стал ждать. Крюнуло. Глупышкин поймал копченую селедку. Все засмеялись, захлопали в ладоши.

После Глупышкина на сцену вышли три девицы в длинных черных платьях и, взявшись под руки, принялись плясать.

Сеанс кончился. Взрослые уходят из зала, а притихшие мальчишки прячутся под скамейками, жмутся в углы, норовят остаться на второй сеанс, но хозяйка помнит, кто из мальчишек и когда пришел.

Очередь доходит и до нас.

— Не хватай! Без тебя уйду! — огрызается Колька, но большая рука с блестящими кольцами на пальцах крепко держит его за ворот и тащит к дверям. Сеанс окончен, и, как бы короток он ни был, мы уже с нетерпением ждем следующей картины и готовы для этого снова таскать на себе дрова.

Однажды в «Форуме» на сцену вышел старик, сел на стул,

на пол поставил большую скрипку и принялся играть. Все притихли. У меня в груди стало так тяжело и в то же время радостно, что я заплакал. Колька взглянул на меня и напугался. Я плакал и зажимал руками рот, чтобы никто не услышал моих рыданий. Так было со мной впервые.

В тот вечер мы с Колькой сидели во дворе на бревнышках и я уверял его:

— Если бы мне дали такую скрипку и показали, как играть, я бы сыграл на ней, и все бы люди заплакали. Провалиться сквозь землю, заплакали бы, — уверял я.

— А зачем плакать-то? Вот если бы запели да заплясали, тогда бы хорошо, — говорил Колька.

Я не спорил, но и не соглашался с Колькой, потому что чувствовал, будто в груди у меня, в сердце, во мне во всем звучала эта песня.

* * *

На Волковской улице жил знаменитый сапожный мастер. Имени и фамилии его люди не знали, но все называли его по прозвищу — Елка-Палка, и даже вывеска на фасаде его дома была такая же: «Сапожный мастер Елка-Палка».

Елка-Палка был человеком веселым и красивым, невысокого роста, с большой черной бородой и всегда улыбающимися глазами. Костюм из хорошего сукна, фуражка, надетая чуть набок, и лакированные сапоги придавали ему какую-то особую молодцеватость.

Не только околотованные, но и сам пристав носил сапоги, сшитые в мастерской Елки-Палки, и поэтому Елка-Палка всегда чувствовал себя спокойно, уверенно.

Заказать сапоги у Елки-Палки считалось особым щегольством, и стоили они значительно дороже, нежели в других мастерских.

С заказчиками Елка-Палка разговаривал просто и очень добродушно. Он говорил:

— Елочка-зеленая, ведь я первоклассный мастер. Не только пристав наш, а графы и князья в моих сапогах разгуливают. Закажите у других мастеров — дешевле возьмут, но сапог будет не тот...

О «графах и князьях» Елка-Палка, конечно, выдумывал, но заказчик этому верил и не шел к другим мастерам. Он заказывал сапоги, платил большие деньги и хвастал тем, что на нем сапоги работы Елки-Палки.



Сам Елка-Палка, как и все хозяева, за верстаком не сапожничал. У него работали лучшие мастера, но исключительно пьяницы. Не пьяниц он в мастерскую не брал.

Все хорошие мастера, пропившие свой инструмент и спустившие с себя одежду, босые, голодные, шли к Елке-Палке.

— А, елочка зеленая! — встречал пришедшего Елка-Палка и тотчас же посылал его на кухню к жене. — Иди-ка прежде похлебай щей!

Нахлебавшись щей, мастер не говоря ни слова садился к верстаку и принимался за работу. О деньгах никогда никакой договоренности не было.

До субботнего вечера Елка-Палка никому из мастеров не давал ни копейки. Кормил он их щами и хлебом, спали они тут же, в мастерской, на полу, подложив под голову тряпье или старые сапоги. На подоконнике всегда стояла большая банка с махоркой, лежали бумага и спички.

В субботу вечером работы на заводах, фабриках и в мастерских прекращались, Елка-Палка рассчитывался с мастерами полностью — всем давал по одному рублю.

Если кто-нибудь протестовал и просил больше, Елка-Палка увещевал его по-отечески и разъяснял так, чтобы слышали другие:

— Елочка-палочка, — говорил он, — ты в понедельник пришел ко мне босый и голодный. Я тебя как брата родного встретил и опорки дал. Неделю я тебя щами кормил, спал ты у меня в тепле как у Христа за пазухой и курил, сколько хотел, а суббота пришла — я тебе рубль денег на пропой души. Подумай обо всем этом, ведь ты человек не глупый! Где же у тебя совесть-то, елочка?

Мастер слушал и чувствовал в словах хозяина действительно что-то похожее на правду.

— Вот ты сейчас уйдешь, — продолжал Елка-Палка, — до понедельника пьяный будешь, а в понедельник-то ведь снова увидимся.

Пьяницы с рублем в руке не думали о своих судьбах и хозяине, они начинали думать, философствовать уже в трактире, после выпитой бутылки.

Такие мастера, однажды похлебавшие щей у Елки-Палки, приживались у него и работали, пока у них была сила, служили руки. Потом они ослабевали от плохого воздуха, скудной пищи, тяжелой работы и попадали в городскую больницу, а оттуда — на кладбище.

К нему-то, Елке-Палке, на три года был отдан в ученики и мой лучший друг Колька.

В первое время я очень тосковал и целыми днями простаивал, глядя издаലെка на окна мастерской Елки-Палки и ожидая, не выйдет ли Колька, но он на улице появлялся редко.

Хозяин взял Кольку в ученье с условием не ходить домой и чтобы мать не вмешивалась в его жизнь. После трех лет учения Елка-Палка должен был купить Кольке костюм и дать двадцать пять рублей деньгами. Виделись мы теперь все реже и реже.

Обветренное веснушчатое лицо Кольки стало белым. Раньше я не обращал внимания на его руки, а теперь увидел, что они у него очень тоненькие и всегда в черной краске.

— Плохо тебе? — спросил я однажды.

— Всем несладко! — ответил Колька каким-то не своим, грубоватым голосом, глядя в сторону.

— Хозяин-то бьет или нет? — допытывался я.

— Нет, не бьет! — вздохнул Колька и добавил: — Но я ему все равно кишки выпущу!

— Как же это? За что? — испугался я, но он, словно взрослый, окинул меня взглядом, рванулся и пошел прочь, не сказав ни слова.

* * *

Среди вещей, подаренных нам когда-то Иваном Петровичем, была толстая книга сочинений Пушкина и много номеров журнала «Нива». Перелистывая «Ниву», я рассматривал портреты бородатых генералов, священников с одутловатыми лицами, портреты царя, царицы. На картинках были изображены пушки, корабли и много солдат.

На одной большой красочной картине был нарисован бра- вый казак. Он мчался на коне, и на его длинной пике болта- лись семь нанизанных на нее немцев. В то время шла война с Германией — первая мировая война.

Полюбовавшись картинками, я стал читать объявления, напечатанные мелкими буквами на синей обложке журнала.

На уголке листа был нарисован маленький человечек, ко- торый указывал пальцем на строчки: «Немедленно вырезайте наш адрес, наклеивайте его на открытку и присылайте ее нам. А мы пришлем вам часы за 1 рубль не хуже, чем за 200 руб- лей».

У нас на комодѣ стоял старый будильник, и я на это объяв- ление не обратил внимания.

Рядом с часами и гномом были нарисованы две головы: кудрявая и лысая: а под ними подпись: «Нет больше лысых! На любой лысине в течение пяти дней вырастают прекрасные волосы».

Объявлений и картинок на обложке было много, но боль- ше всего меня заинтересовало вот какое: «Если желаете раз- богатеть, сообщите ваш адрес и приложите на 50 копеек поч- товых марок. Почтамт. Почтовый ящик 105. Л. И. О.».

Вечером после чая, когда мама опрокинула чашку кверху донышком, я прочитал ей: «Если желаете разбогатеть, сооб- щите ваш адрес...»

Мама не поняла, что я хотел этим сказать. Я объяснил ей и добавил:

— Как думаешь, если послать адрес?

Она махнула рукой и отвернулась.

Я обиделся, подумал: «Вот так, не веришь, машешь руками — поэтому-то другой раз и сидим голодные».

Зная, что у нас нет денег, я решил потихоньку с большим старанием собирать всюду грязные бутылки, кости, тряпки, железо и продавать тряпичникам.

Через несколько дней, оставшись в комнате один, я уже сидел за столом и выводил на хорошем листе бумаги: «Я хочу быть богатым». Затем я указал полностью свое имя, отчество, фамилию, адрес, вложил в конверт на пятьдесят копеек почтовых марок, как было сказано в журнале, и опустил письмо в почтовый ящик.

С этого дня я начал думать, как мы разбогатеет, напечем пирогов, купим булок, конфет, позовем всех жильцов к нам в комнату и будем пить чай.

Ответное письмо пришло через три дня. Оно было без марки. Мамы в эти минуты дома не оказалось, и несколько копеек за доставку письма отдала старуха Максимовна.

— Максимовна, — упрашивал я ее, — ради бога, не говори маме о письме. Я скоро все сам скажу ей и дам тебе денег в десять раз больше.

Старуха посмотрела на меня, на письмо, покачала головой, вздохнула и согласилась молчать.

У себя в комнате дрожащими руками я осторожно вскрыл голубой красивый конверт и достал похрустывающий лист бумаги.

«Глубокоуважаемый, — прочитал я свое имя и отчество, — Вас заинтересовал путь к богатству. Это естественно. Он интересует миллионы людей, тысячи из них я уже осчастливил. Я овладел новым американским способом разбогатеть, вы тоже овладеете им. За 80 копеек почтовыми марками я вышлю вам этот способ, и перед вами раскроется мир радостей и наслаждений. Доктор химии Шток».

Доктора химии я словно увидел: старого, с длинными седыми волосами, в шляпе...

Копить деньги на отсылку второго письма я не стал: была дорога каждая минута. Хотелось продать что-нибудь из нашего имущества, но в комнате ничего подходящего для продажи не находилось.

Я сбросил с сундука свою подушку, простыню, шубу, поднял крышку и среди тряпья увидел очень длинные, мало ношенные галоши. Протерев их, чтобы лучше блестели, я пошел разыскивать тряпичников,

Продажа галош без разрешения матери меня не беспокоила. Я думал: «Овладею американским способом, разбогатею и тогда все расскажу».

Я долго торговался с тряпичником и наконец отдал ему галоши за рубль двадцать копеек.

Чтобы не показаться глупым, над вторым письмом я трудился долго, хотя оно и получилось коротким: «Господин доктор, — писал я, — извиняюсь за беспокойство, пришлите мне, пожалуйста, ваш американский способ». У меня хватило денег купить конверт, бумагу, марку и отослать доктору восемьдесят копеек. Еще остались медяки на случай, если вдруг и второе письмо окажется без марки.

Отослав, наконец, письмо, я стал думать уже не только о пирогах и булках. Но и о том, как овладею способом и скажу маме: «Больше я не позволю тебе стирать белье и мыть полы. Поработала — и довольно. Теперь отдыхай».

Почтальон приносил письма в дом два раза в день, утром и вечером. К этому времени я выходил на улицу, садился куда-нибудь в сторонку и поглядывал на ворота, крепко сжимая в руке медяки.

И это письмо оказалось без марки. Расплатившись с почтальоном, я заперся в комнате, вскрыл конверт и, не торопясь, стал читать, вникая в каждое слово.

«Глубокоуважаемый, — опять прочел я, — за обыкновенное мыло вы платите сумасшедшие деньги, а я в совершенстве овладел американским способом приготовления его дома и, заметьте, холодным способом.

Теперь вам не нужно переплачивать деньги фабрикантам, заводчикам. По мере надобности вы будете изготавливать мыло дома, а деньги экономить и составлять капитал.

Рецепт изготовления мыла высылаю немедленно только за один рубль почтовыми марками.

С почтением. Доктор химии Шток».

Еще и еще раз перечитывая письмо, я долго не мог сообразить, зачем доктор пишет о мыле, и вдруг понял, что он обманывает меня.

«Тысячи я уже осчастливил», — подумал я, и передо мной словно промелькнули бутылки, тряпки, груда костей, галоши...

Рухнуло всё...

Я бросился на сундук, уткнулся лицом в подушку, горько заплакал и так уснул. Мне снилось, будто разорвался тяже-

лый занавес и в черную дыру просунулась круглая лысая голова доктора химии. Он смеялся, растягивая большой беззубый рот в отвратительную улыбку. Я замахнулся, хотел ударить по желтому лысому черепу, но рука, словно сделанная из ваты, не слушалась, а лысая голова приближалась. Не в силах оттолкнуть ее, убежать, спрятаться, я закричал:

— Мама!

И проснулся.

Так кончилась моя попытка разбогатеть. Я понял, что такое «американский способ».

* * *

Почти все мои одноклассники уже были отданы в ученье. Пришла пора и мне идти в люди.

Часто жильцы квартиры собирались на кухне и решали мою судьбу. Старуха Максимовна говорила, что портновское дело — самое лучшее, и советовала отдать меня в портные. Тряпичник Уткин утверждал, что торговый народ — самый богатый и сытый, а мать грустно молчала, и я понимал, что пора уже самому зарабатывать на хлеб, — мне шел двенадцатый год.

Вскоре судьба моя решилась. Мама уложила в фанерный сундучок все мое белье, туда же положила евангелие, свидетельство об окончании школы, мою любимую книгу сочинений Пушкина, благословила иконкой и отвела меня к знаменитому купцу Золотову в ученье на пять лет.



Этот дом одной стороной выходил на Сенную площадь, другой — на Екатерининский канал, а третьей — на Демидов переулок, в нем были расположены магазины торгового дома Золотова: чайный, гастрономический, лабаз.

Почти все мальчишки, принятые, как и я, в ученье на пять лет, два первые года работали в глубоких, но теплых подвалах, которые служили складами.

Сначала мне в подвалах было страшно. Низкие потолки и гладкие толстые стены, казалось, сомкнутся, раздавят, но я очень скоро привык.

Таких, как я, там было человек пятнадцать. Мы сидели за длинными столами, разливали по флакончикам уксусную эссенцию, раскладывали в баночки горчицу, разливали из бочонков в бутылки прованское масло и наклеивали голубенькие этикетки. Шум с улицы не проникал в подвал. В нем было тепло, тихо, и только от запаха эссенции и горчицы тяжело было дышать и кружилась голова.

Работая, мы не боялись, что нас услышат, и рассказывали сказки. Никто, даже старший приказчик, внезапно появляться в подвале не мог. Сначала он должен был наверху приоткрыть люк в полу и начать спускаться к нам по железной винтовой лестнице.

Хорошие были ребята в подвале. Вот, например, Ванька Кисель умел хорошо рассказывать разные истории. Сядет он, бывало, на скамейку, подберет под себя ноги, глядит вдоль подвала и, тихонько покачиваясь, начнет нараспев дразнить



большого нескладного мальчишку Федьку, прозванного Мухомором.

— А бурена-то стоит у калитки: «му-у...» Шею вытянула, об изгородь ухо чешет... Федькина мать бежит, открывает калитку: «Поди, поди, гулёна ты моя». Доит мать, а молоко по ведру — дзинь, дзинь... Бурена оглядывается...

Говорит Кисель, медленно покачиваясь, и подвал превращается в уголок деревни. Глядят ребята в полутемную пустоту и ждут. Вот-вот сейчас появится мать с подойником, а буренка вслед ей глядит, мохнатой головой тихонько покачивает.

— Ну, вот и подоила, — произносит Кисель. — На лавку в сених села: «Ох, как-то Феденька мой там в чужих краях? Так бы и налила кружечку тепленького...»

Сначала Федька-Мухомор улыбается, потом веснушчатое рыжее лицо его морщится, и он начинает плакать тоненьким голоском под общий смех ребят.

— Не плачь, Федя, ведь я пошутил, — скажет Кисель, и Федька-Мухомор успокоится.

Меня ребята любили за то, что я им пересказывал сказки Пушкина и читал стихотворения, выученные на память.

Если бы не случай, резко изменивший мою жизнь, я два года пробыл бы в подвале, потом сделался бы подручным приказчика и к восемнадцати годам стал бы продавцом.

Однажды я взял большой медный чайник и пошел из магазина через дорогу в чайную за кипятком.

На противоположной стороне переулка, на панели, меня остановил мужчина, отвел в сторону, дал мне пятьдесят копеек и спросил:

— Ты из подвала?

— Да, — ответил я.

— А вас там не бьют приказчики?

— Нет, — говорю, — не бьют.

— А чем кормят?

— Щи, суп, каша.

Он похлопал меня по плечу и ушел.

Я принес кипяток, и хотел уже спускаться в подвал, но старший приказчик отвел меня в угол и стал расспрашивать, о чем я разговаривал с человеком на улице. Через остекленную дверь магазина он видел нас.

Я рассказал все, как было, и даже показал пятьдесят копеек.

Дня через три меня вызвали в контору к хозяину. Он сидел за столом, красный, вспотевший, ворот рубашки у него был расстегнут. Старший приказчик что-то говорил ему, а бухгалтер, растерянный и бледный, стоял рядом.

— Разве тебя бил кто-нибудь? — спросил хозяин.

— Нет, не бил! — ответил я.

— Кормят тебя? Ты сытый? — прошипел бухгалтер.

Не понимая, чего он от меня хочет, я заплакал и сказал, что кормят хорошо: щи и каша.

— А за что же тебе дали полтинник? — закричал вдруг хозяин, но осекся и, словно проглотив что-то застрявшее в горле, тихо сказал:

— Гнать нельзя! — и махнул рукой.

Я хотел идти в подвал, но бухгалтер велел мне подождать в кладовой, где хранились папки с документами, связанные веревками. Я вошел туда и присел на стул.

Через несколько минут в кладовку вошел бухгалтер, прикрыл дверь и спросил:

— Так ты зачем врал, что тебя бьют и не кормят?

— Не врал ни словечка! — воскликнул я.

— И не знаешь, за что тебе дали полтинник?

— Не знаю!

Тогда он схватил веревку и стал ею стегать меня по голове и плечам.

Бил он меня долго, пока не начал задыхаться от усталости, а потом бросил веревку и ушел.

Я стал поправлять повалившуюся стопу бумаг и увидел на полу блестящую запонку.

Вошел бухгалтер и начал осматривать пол. Я подал ему запонку.

Он долго молча глядел на меня, потом достал бумажник и дал мне три рубля.

На голове и на шее у меня были рубцы, ссадины, но я на них не обращал внимания. Я чувствовал тяжесть в груди и сильно страдал оттого, что не знал, за что меня били.

«Гнать нельзя», — вспомнил я слова хозяина, подумал, что теперь будет еще хуже, и решил бежать. В подвал я больше не спустился, а пошел на квартиру, быстро сложил свои пожитки в фанерный сундучок и пешком отправился домой.

Пришел я к себе за Московскую заставу уже вечером. На кухне горела керосиновая лампа. На табуретке у порога сидел

Уткин и читал газету. У плиты стояла мать. Из угла, из-за ситцевой занавески, выглядывала старуха Максимовна.

— А вот и сам купец Золотов, — крикнул Уткин. — А мы как раз о вас вспоминали. Вот... — и громко прочел заметку о том, как в знаменитом торговом доме Золотова ученики-мальчики заживо погребены в подвале, как их избивают и не кормят и что там в складах — подвалах и магазинах — гуляют несметные полчища крыс...

И тут только я понял, в чем меня обвиняли: они подумали, что это я рассказал мужчине о подвалах и крысах и за это получил пятьдесят копеек.

Мама, ни о чем меня не расспрашивая, опять расстилала на сундуке старую шубу.

Раздеваясь, я достал из кармана деньги.

— Вот, — сказал я, — возьми, три рубля дал мне бухгалтер за то, что я ему бумаги в пачки связывал, а пятьдесят копеек дал какой-то барин. — Скрыл я этот позор даже от матери.

Так кончилось мое учение в торговом доме Золотова.

* * *

Все мои сверстники мальчишки учились, кто у сапожника, кто у слесаря, у портного, и только я, после неудачи у купца Золотова, все еще ничем не занимался.

Но вот однажды мать пришла с работы от каких-то господ с запиской. Их знакомому часовщику требовался ученик. Я обрадовался, и мы поехали на другой конец города, к Финляндскому вокзалу.

В переулке мы прочитали вывеску «Ремонт часов», поглядели в окно на большие бронзовые часы, на маленькие часики, лежавшие на черном бархате, и вошли в мастерскую.

Люди, что прислали нас, как видно, были хорошими знакомыми часовщика. Прочтя записку, он подал маме стул, а меня погладил по голове.

Часовщик и мама беседовали, а я разглядывал продолговатую, гладко выбритую розовую голову будущего хозяина, его маленькие, плотно прижатые уши.

Мать просила не обижать меня и вытирала глаза платком. Хозяин пожимал плечами, улыбался и говорил: «Ну, разве я похож на такого? Ну, посмотрите!» — Он показал пухлые белые руки, с черными волосиками на кистях, поворачивал голову то налево, то направо: «Ну, разве похож?»



Мать вздыхала, соглашалась и утвердительно покачивала головой.

Когда судьба моя была решена, хозяин стал перечислять свои обязанности по отношению ко мне, загибая пальцы на руке: поить, кормить, обувать, одевать, учить, а после пяти лет — костюм и пятьдесят рублей денег. Он помолчал, потом строго взглянул на мать и добавил: «Это делаю я. А вы здесь не нужны!» — после этого он погрозил мне пальцем: «Я из него сделаю мастера, а собак гонять не позволю. Нет!» При этом хозяин так махнул рукой, как будто срубил голову кому-то с плеч, и опять стал улыбаться, как при начале разговора.

— Это конечно, строгость должна быть, — соглашалась мать.

— Ну так! — хозяин хлопнул рукой по прилавку. — Вы дадите ему на первое время штаны, рубашку, а потом мы уже позаботимся о нем, и пусть завтра является один. Он человек не маленький, дорогу найдет. Правильно я говорю? — хозяин хлопнул меня по плечу и засмеялся.

— Правильно! — подтвердил я.

На следующий день утром я уже сидел на своем фанерном сундучке у дверей мастерской.

Хозяин увидел меня издали, подошел к мастерской веселый, сказал мне: «Орел!» — и мы с ним стали снимать деревянные ставни с остекленной двери и окна.

Войдя в мастерскую, хозяин сообщил:

— Звать меня Марк Львович! — И переспросил: — Как?

— Марк Львович, — повторил я.

— Правильно! — засмеялся хозяин. — А ты теперь будешь Орел, и мы с тобой будем жить — не тужить.

Он провел меня вглубь мастерской, снял замок с больших железных засовов и сказал, открыв дверь:

— Вот твоя отдельная комната.

Это была очень маленькая комнатка с крохотным оконцем у потолка и дверью, выходящей на черную лестницу. Стены ее были выкрашены темной краской. В полумраке виднелась узенькая кровать, деревянный кухонный столик и табуретка.

— Зажги лампу, не торопись, приберись! — сказал мне Марк Львович и ушел в мастерскую.

Сбросив ватный пиджак и шапку, я вычистил закопченное стекло керосиновой лампы, зажег ее, покрыл кровать простыней и одеялом, привезенными из дома. Затем протер оконце, принес воды и вымыл пол.

Я старался изо всех сил, чтобы моя комната была чистой, но главное, я хотел показать хозяину, что я все умею делать.

Время близилось к полдню. В мастерскую вошли хозяйка с дочуркой. Они принесли обед в судках — трех эмалированных чашках, поставленных одна на другую. От чашек еще шел пар, и я понял, что хозяева живут недалеко от мастерской.

Хозяйка заглянула в мою комнату, потрогала одеяло, простыню, пощупала длинное полотенце, внимательно оглядела мою сатиновую новую рубашку, выглаженные штаны и до блеска начищенные ботинки.

— Красивый мальчик, — сказала она, окончив осмотр.

— Орел! — отозвался хозяин, принимаясь за обед.

Девочка в вязаной шапочке и широком красном пальто, румяная, похожая на мать, стояла в стороне, глядела на меня и улыбалась.

Хозяин ел торопливо, громко чавкал. Руки и подбородок у него блестели. Покончив с обедом, он дал мне денег и указал на противоположную сторону переулка, где был гастрономический магазин.

— Купи себе колбасы и булку, а завтра уж будем обедать.

Остаток этого дня я стоял у дверей своей комнаты, слушал разговор хозяина с заказчиками, поднимал гири стенных часов, несколько раз вытирал стекла на витрине.

Вечером мы повесили ставни на дверь и окно. Хозяин прошел ко мне в комнату, сел на кровать и стал приказывать:

— Можешь сидеть здесь, спать, делать что хочешь, но уходить нельзя! — Он дал мне ключ от двери, ведущей на лестницу, и посоветовал:

— Ложись-ка лучше спать, Орел. Утро вечера мудренее.

Я остался один, открыл ключом дверь и осмотрел замок. Он был сделан так, что закрывать дверь можно было только из комнаты, а с внешней стороны не было даже и прорези для ключа. Если бы я захотел уйти куда-либо, то запереть комнату снаружи было бы невозможно.

Выйдя на черную лестницу, я прислушался. Здесь было сумрачно и тихо. Вдруг до меня донеслось слабое мяуканье. Внизу на подоконнике сидел котенок, я взял его, принес в комнату, покормил колбасой. Теперь я уже не был так одинок.

Закрывшись на ключ, я разделся, вместо подушки положил под голову пиджак и укрылся одеялом. Котенок лег рядом, замурлыкал, и мы уснули...

Марк Львович каждый день обыскивал меня. Подзовет и скажет:

— А ну-ка, дохни!

После этого он начинал обшаривать мои карманы, искать в них папиросы и спички. Я стоял, подняв руки, и думал: «Ищи, ищи, знаю, что не папиросы ищешь, а думаешь, не утащил ли я что-нибудь с верстака».

Не найдя у меня в карманах ничего, кроме платка и перочинного ножичка, Марк Львович грозил пальцем:

— Будешь курить — умрешь, и мама твоя мне спасибо не скажет. . .

После работы за верстаком я возвращался в свою тесную, темную комнатку, ложился на кровать и начинал мечтать о своей будущей мастерской и о квартире, которую я представлял себе такой же, как у хозяина: с большими картинами в широких золоченых рамках, с мягкими коврами, креслами. . .

Помечтав о будущем, я раскрывал книгу Пушкина и принимался перечитывать стихи и сказки, многие из которых я уже знал на память. Мне казалось, что я очень повзрослел за это время.

«А еще год назад, желая разбогатеть, я посылал письма доктору химии», — думал я. Теперь же, лежа на кровати в своей комнате, я при одном воспоминании об этом не мог удержаться от смеха.

Мне даже не верилось, что год назад я был таким глупым. Прежде я даже и не представлял себе, как можно разбогатеть, теперь же я видел, как богатеют.

Сидя каждый день за длинным верстаком рядом с хозяином, я делал вид, что увлечен работой, а между тем чутко прислушивался к его разговорам с заказчиками, покупателями и зорко следил за всем, что он делает.

Вот заказчик, пожилой человек, снимает перчатки, расстегивает пальто и достает дорогие часы. Лицо у него озабоченное, и говорит он с огорчением:

— Все время ходили, и вот. . . остановились!

Хозяин не торопясь берет лупу, рассматривает механизм и глубоко вздыхает.

— Как же это случилось?

— Не знаю! — пожимает плечами заказчик.

— Ну что же. . . — хозяин опять вздыхает, словно решаясь на тяжелый труд. — Сделаю, будут опять служить много

лет. — Он выписывает квитанцию с очень крупной ценой за ремонт и произносит:

— Приходите через две недели!

— А поскорее нельзя? — просит заказчик.

Хозяин отрицательно качает головой и говорит веско:

— У вас прекрасные часы, и сделать их нужно хорошо. Заказчик уходит.

Хозяин потирает руки от удовольствия, тонким пинцетом вытаскивает из механизма крошечную волосинку, попавшую туда каким-то путем, и прячет в витрину часы, готовые к сдаче заказчику.

Хозяин не только ремонтировал старые часы заказчиков, но и торговал своими, новыми. У него было много разных часов, очень красивых только внешне, но с очень плохими, дешевыми и непрочными механизмами.

Многие покупатели в качестве механизмов не разбирались, и хозяин обманывал их.

После каждой продажи часов, выгодной сделки, когда покупателя уже не было, хозяин потирал руки и тихонько посвистывал от удовольствия.

Мастерская наша была близ вокзала, на бойком месте, народу к нам заходило много, и хозяин иногда тихонько посвистывал весь день.

По вечерам у себя в комнате я мысленно подсчитывал заработки хозяина. Я знал, что он иногда зарабатывал в один день больше, нежели моя мать зарабатывала в течение года.

И опять я мечтал, что еще год — два — и я буду уметь делать все, что делает хозяин.

Я был очень старательным и скоро стал хорошо ремонтировать часы. Хозяин перестал обшаривать мои карманы и для обыска нашел новый способ.

Сидим, бывало, работаем, молчим. Я поглядываю на округленные медвежьи плечи, на розовый гладкий затылок хозяина и думаю: «Ну, что ж не обыскиваешь? Придумывай предлог, начинай».

Моя мысль словно передавалась на расстоянии. Хозяин оставлял работу, разгибал спину и принимался оглядывать большой верстак, словно подсчитывая все, что на нем лежит.

В такие минуты мне становилось весело. «Зашевелился, — думал я, — обокрали тебя, как пить дать, обокрали!» А хозяин брал в руки хронометр, по которому мы проверяли часы, и посылал меня проверить его по вокзальным часам.



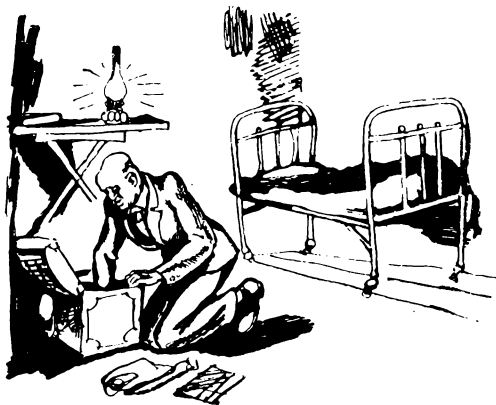
Зная, что хронометр показывает время более точно, нежели вокзальные часы, я клал его в карман и шел прогуляться по улицам.

Иногда я заходил к нам во двор, на черную лестницу и через маленькое оконце осторожно заглядывал к себе в комнату.

Хозяин тряс мою подушку, хлопал по одеялу, осматривал мой сундучок, аккуратно перебирал белье, перелистывал страницы евангелия и том сочинений Пушкина.

Не шевелясь, вытянув шею, стоял я у оконца, наблюдал и думал: «Перелистывай, тряс, обыскивай! Все вытерплю!»

Разве иногда, в пасмурную погоду, по вечерам, когда никого не было видно и слышались только шум ветра или шорох дождя, мне в моей комнате становилось тоскливо, счень нехорошо. Вспоминался наш двор за Московской заставой. Я думал о Кольке, хозяине Елке-Палке, и его мастерская уже не казалась очень плохой. Глубокие подвалы купца Золотова теперь мне представлялись светлыми и жизнь в них веселой. Вспоминались мальчишки: Мухомор, Федька Кисель, рассказывающий сказки... От этих дум становилось даже трудно дышать, подступали слезы и казалось, что я живу на свете давно-давно.



Чем больше я думал обо всем этом, тем тяжелее становилось. Я раскрывал скорее книжку Пушкина, перечитывал снова и снова стихи, рассказы, забывал думы свои, и становилось легче.

Так жил я. Все терпел и вытерпел бы, и стал бы хорошим часовым мастером, если бы...

Однажды вечером, после закрытия мастерской, я вышел из своей комнаты на лестницу с книгой в руках и сел на ступеньку. Рядом со мной примостился десятилетний сынишка дворника, Матвейка.

Когда мы с ним, уже не в первый раз, перечитали «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», он, между прочим, спросил:

— А не боишься ты спать-то у себя в комнате?

— Что же бояться. Чай, не в лесу, — усмехнулся я.

— А Гришка боялся, — сказал Матвейка.

— Какой Гришка? — не понял я.

— До тебя в этой комнате жил Гришка. Он боялся один оставаться в комнате и все плакал да убегал на улицу. Хозяин

заставлял спать в комнате. Гришка плакал, плакал, да и повесился...

До рассказа Матвейки я не боялся один оставаться и спать в комнате, а теперь стало страшно.

Матвейка ушел домой, и я пошел к себе.

В комнате было уже темно. Я зажег стоявшую на столе лампу и принялся поспешно складывать свои пожитки в фанерный сундучок.

Ключ от комнаты я положил на стол, взял в руки сундучок, взглянул на большой черный крючок, вделанный в потолок, погасил лампу, захлопнул дверь и поспешил во двор.

С сундучком на плече я потихоньку пошел домой за Московскую заставу.

Дома все было по-прежнему. Кухню освещала маленькая керосиновая лампа. Мать стояла у плиты и о чем-то разговаривала со старухой Максимовной, выглядывавшей из своего угла, из-за ситцевой занавески. В коридоре, приткнувшись плечом к косяку, с трубкой в зубах стоял тряпичник Уткин.

Увидев меня в такой поздний час с сундучком в руке, мама встревожилась.

Я поздоровался со всеми и прошел в нашу комнату. Следом вошла мама и плотно прикрыла за собой дверь.

— Что случилось? — шепотом спросила она.

— Не могу я там. Гришка до меня в этой комнате задавился, — так же тихо ответил я.

— Господи, боже мой! — испугалась мама. Она перекрестилась, перекрестила меня. — Не говори об этом никому, ради бога! — и добавила: — Ничего, и без них прокормимся.

Тогда мне казалось, что я человек несчастный, что на мою долю в жизни выпадают одни неудачи, но жаловаться и рассказывать о них не надо.

* * *

Районная биржа труда Московской заставы находилась на Лиговской улице в двухстах шагах от Триумфальных ворот. Длинное низкое строение из досок, похожее на сарай, разделенное внутри перегородками, вмещало много народу. Над каждым отделением была приколочена дощечка с надписями: «Плотники», «Маляры», «Печники», «Чернорабочие».

Безработный приходил на биржу, отыскивал нужное ему отделение с надписью, соответствующей его специальности, и становился за перегородку.

Хозяева-наниматели неторопливо прохаживались по бирже, осматривали рабочих за загородками и выбирали, кому что требовалось. Молодым, сильным за работу платили больше, старикам — меньше. Одни брали безработного помоложе, посильнее, подороже, и это считали выгодным; другие же, наоборот, старались нанять работника постарше, более слабого, а следовательно, и подешевле.

При появлении нанимателей каждый безработный старался казаться моложе, сильнее, добродушнее. Лихо сдвинув шапку на ухо или на затылок, он весело похлопывал рукавами и кричал, чтобы обратить на себя внимание:

— Эх, порботаем, что ли!

Выбрав работника, хозяин тут же на месте договаривался с ним о зарботке, о харчах и уводил счастливчика к себе.

Все безработные казались похожими друг на друга, среди них резко выделялись только маляры. Весной и летом, перепачканные мелом, с пятнами краски на одежде, они дымили дорогими папиросами и смеялись. С наступлением осени и окончанием сезонных работ эти же маляры, небритые, молча стояли, ожидая, что их наймут, и хмуро курили махорку.

Я тоже приходил на биржу в поисках счастья, но для чернорабочего я был еще мал, слабосилен, поэтому никто не обращал на меня внимания.

Однажды утром, подойдя к загородке с надписью «Плотники», я стал рассматривать пожилых людей в самодельных войлочных шляпах, в домотканых кафтанах и в лаптях. Все плотники были подпоясаны веревками. У каждого сбоку за веревку был заткнут топор.

Увидя меня, бородатый плотник закричал:

— Эй, молодец! Нанимайся-ка ко мне собак пасти, кошкам сено давать, из-под курицы навоз продавать!

Грянул дружный хохот. Я обиделся, ушел с биржи и больше туда не приходил.

Как-то вечером к нам в квартиру тихонько постучали. Мама открыла дверь и увидела старого плотника. Он стоял с мешочком за плечами, в шляпе, надвинутой на лоб, в кафтане, с небольшим блестящим топором, заправленным за веревку, которой был подпоясан.

Мама подумала, что человек изголодался без работы и ждет милостыню. Она хотела идти в комнату отрезать хлеба, но старик сдвинул со лба шляпу и показал свои большие серые глаза.

Опустив руки, мама отпрянула от двери. Это был наш бывший жилец Иван Петрович.

Убедившись, что никто из жильцов пришедшего не видит, мама быстро провела его в комнату, закрыла дверь и задернула занавеску на окне.

— Можно до завтра, до утра? — прошептал Иван Петрович, стоя у двери.

— А куда же денешься!.. — сказала мама. — Если кто спросит, скажу, приходил двоюродный брат Федор. Он и вправду приходил недавно, тоже плотничает. — И добавила радушно: — Да вы раздевайтесь! Садитесь, Иван Петрович.

Мешок, топор и веревку Иван Петрович спрятал за сундук, а кафтан и шляпу свернул и положил в углу на пол.

Мама пошла на кухню согреть самовар, а чтобы кто-нибудь из жильцов случайно не заглянул к нам в комнату, она закрыла нас на ключ.

Я заметил, как Иван Петрович вдруг стал очень сильно тревожиться, не узнал бы о его приходе к нам кто-нибудь посторонний. Он в синей рубашке, в жилетке сидел на сундуке и беспрестанно смотрел то на окно, то на дверь.

— Не бойтесь! — шепчу я. — К нам никто не приходит, и ночь скоро.

— Ну, как вы живете здесь? — спросил меня Иван Петрович, с опаской поглядывая то на окно, то на дверь.

— В ученье жил, у купца Золотова, да убежал. Бьют незнамо за что... К часовщику пришел, а там и еще хуже... — рассказывал я. — Колька страдает у Елки-Палки... Руки тонкие, как лучинки. Еремушке в полиции всю кожу со спины содрали, страшно глядеть...

А мама тем временем принесла из лавки колбасы, хлеба. Мы попили чаю и тотчас же стали готовиться ко сну. Ивана Петровича мы уложили на моем сундуке, я лег на кровать. Мама пошла на кухню, устроилась у теплой плиты и, склонившись над керосиновой лампой, принялась чинить грудку старого выстиранного белья.

Утром Иван Петрович не стал пить чай, и мама положила ему в карманы кафтана сваренных горячих яиц и хлеба, намазанного маслом.

Иван Петрович оделся, подпоясался веревкой, заправил за нее топор, набросил на плечо мешок, достал из кармана деньги и протянул маме бумажку.

— Что вы, что вы, — запротестовала мама. — Нам и так

до смерти с вами не рассчитаться! Вы нам долг прислали с большой прибавкой, все вещи свои подарили, от Ляпкова из ямы выбраться помогли...

— Ну, прости, пожалуйста, прости! — сказал Иван Петрович. — Все-таки в расход вас ввел: колбасу, яички для меня купили, — и крепко пожал маме руку. Потом обеими руками обхватил мою голову и поцеловал меня в лоб.

За окнами в холодной темноте раннего утра уже гудели заводы.

Мы проводили Ивана Петровича до двери, и мама, крепясь, зашептала вслед:

— Спаси их, сохрани их, господи, и помилуй!

Я тоже желал Ивану Петровичу счастливого пути, — был уверен, что в мешочке у него листовки против полиции, царя.

* * *

Жить стало совсем плохо, даже у мамы опускались руки.

— Что делать? Чем кормиться? — вздыхала она. И действительно, продукты дорожали с каждым днем.

— Уж вы, пожалуйста, сами кормитесь: ни масла, ни сахара на всей заставе нет. Продукты на фронт отправляются, — говорила мама жильцам, но они просили ее приготовить хотя бы картофельных котлет.

Женщины на улицах осмелели, стали собираться небольшими группами у магазинов и, размахивая пустыми провизионными сумками, угрожать торговцам.

На улицах появились инвалиды в измятых шинелях, безрукие и безногие, стучащие костылями. На шапках у них были кресты с надписью «За веру, царя и отечество», на груди — медали и георгиевские крестики.

Тревожно стало и у нас в квартире. Тряпичник Уткин с мешком за плечами целыми днями ходил по дворам, слышал много новостей и вечерами на кухне пересказывал их нам.

— На фронте солдаты воевать не хотят и офицеров не слушают, а здесь богачи все лучшие продукты в магазинах скупают, запасы для себя делают. Что-то будет!

— А что? — допытывался я: мне очень хотелось знать, что ожидает нас, но Уткин пыхтел трубкой и ухмылялся.

— Поживем — увидим!

— И рабочие на заводах осмелели, — тихонько вступала в разговор Максимовна.

— Да! — подтверждал Уткин. — Большевики появились. У них в газете «Правда» так и написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— А кто они, пролетарии? — спрашивал я.

— Известно кто! Наш брат, а не капиталисты, — говорил Уткин и загадочно подмигивал мне из клубов дыма.

— Вот землекопы-то, что у нас жили, — наверное, они и есть большевики, — тихонько сказала мама. — А может, и просто хорошие люди... Или Иван Петрович — документы-то у него не свои были, от полиции прятался, — добавила она еще тише и, повернувшись лицом в сторону иконы, истово перекрестилась: — Дай бог им здоровья и благополучия!

— А говоришь: не знаю, кто большевики, — прошептал я. Мне было ясно, что нам с мамой надо к большевикам. Но как к ним присоединиться? И откуда узнаешь про человека, большевик он или нет...

Я пошел на улицу посмотреть, что делается там. На перекрестке Заставской и Волковской улиц, против участка, ни городских, ни околоточных не было. «Неужели спрятались?» — подумал я и пошел на Забалканский проспект.

У ворот завода Речкина шумела толпа. От Путиловского моста с Московского шоссе шли рабочие, и на панелях становилосьлюдно, как в праздник.

— У Сименса забастовка! — услышал я.

Вдруг заголосил гудок «Скорохода», помолчал немного и опять закричал. Нигде не было видно ни одного полицейского...

В то утро мама, как обычно, пекла картофельные лепешки. Так как ватная фабрика и тряпичный склад по случаю волнения рабочих были закрыты, Уткин в чистой рубашке сидел в коридоре и рассуждал, попыхивая трубкой:

— Городовым и околоточным нынче невесело. Убежали бы, да некуда. Начальники ихние убегут, спрячутся — у них денег много. А этих народ задавит...

Я впервые внимательно разглядывал Уткина, его чистые руки и свежую рубашку. Он говорил, а мне представлялось, что говорит кто-то другой, а он, Уткин, только пыхтит трубкой и пальцем уминает в ней пепел.

— В девятьсот пятом году так же было. Помню, рабочие городского убили, а меня по этому делу на допрос вызвали. Ничего от меня не узнали и отпустили, а с фабрики все-таки выгнали, — подозрительный стал. Я туда, я сюда. Ходил-хо-

дил, никуда не берут. Взял я мешок, пошел по дворам, да вот и хожу с тех пор...

Вдруг неожиданно распахнулась дверь, и в кухне появилась встревоженная и радостная соседка.

— Царь убежал и престол бросил! — сообщила и заторопилась в другие квартиры.

Мама растерялась и почему-то стала вытирать тряпкой стол, Уткин встал, торопливо сунув трубку в карман. А жилец, работавший у Озолинга, крикнул: «Вот она, революция!» — и кинулся на улицу.

Я быстро оделся и стремглав бросился вслед за ним.

— Не уходи далеко от дома! — крикнула мама.

На перекрестке Заставской и Волковской горел костер. Со второго этажа, из выбитого окна полицейского участка, на улицу летели пачки бумаги, ящики письменных столов с документами. Бумажки разлетались по ветру. Вокруг костра суетились мальчишки и большим полукругом стояли взрослые.

Я пробрался к костру, присел на корточки и принялся палкой шевелить плотные пачки бумаг, чтобы они горели веселее.

— Городовые! — крикнул кто-то.

По Волковской улице, окруженные толпой, шли двое городских в грязных штатских пальто, оба без шапок. Их нашли и вытащили откуда-то из подвала.

На углу Заставской улицы и Забалканского проспекта тоже толпился народ. Там на панели, у стены, раскинув руки, лежал пожилой рабочий. У его головы снег был красный, пропитанный кровью. Откуда-то появились двое с носилками. Они положили на них рабочего, а какая-то старушка, наклонившись к убитому, накрыла ему лицо белым платком.

— В Новодевичий монастырь, на колокольню забрались проклятые, с пулеметами, с винтовками... У нас на чердаке троих нашли, там и прикончили... — слышалось в толпе.

От завода Сименс-Шуккерта, с Московского шоссе по проспекту в сторону Триумфальных ворот шли рабочие, построившись рядами. Мне очень хотелось, и я немного прошел вместе с ними. Дальше идти не решился и, остановившись у лавки Ляпкива, подумал: «Ну, теперь и ты свое получишь!»

Костер догорал, народу вокруг него становилось меньше, и только мальчишки кричали и суетились у огня...

Дня через два мы с мамой пошли на улицу и стали в очередь за хлебом, — выдавали его в булочной по два фунта каждому.

Через несколько дней народ на улицах успокоился. У рабочих и у хорошо одетых богатых людей, теперь почти у всех, на груди были красные бантики. И непонятно было, почему красные бантики и у богатых! А вместо городского на перекрестке стоял мужчина в полушубке, с винтовкой за плечами и красной повязкой на рукаве «Временная милиция».

На заводах и больших фабриках с утра до вечера шли соборания. Маленькие мастерские, парикмахерские, магазины стали работать и торговать так же, как и до революции.

Я увидел лавку Ляпкова открытой и почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. Ляпков, как и прежде, стоял за прилавком в каракулевой шапке, надетой чуть набок, и улыбался покупателям. И у него на груди, как и у всех, был красный бант. . .

Мы с мамой пили чай с хлебом и разговаривали о Ляпкове.

— Веселый, смеется, и тоже с бантом. . . — говорил я.

Мать, нахмуренная, молчала.

— Царя прогнали, городских поубивали, а его не тронули.

Мне было непонятно, почему революция не тронула этого нашего врага, хитрого и богатого торговца.

Мама допила чашку и глубоко вздохнула:

— Я и сама не понимаю. А уж его надо бы задавить первого.

Все эти тревожные дни на улице Кольку не было видно. «Не случилось ли чего с ним?» — подумал я и пошел к Елке-Палке. До революции я боялся входить в мастерскую и только заглядывал в окна: Елка-Палка выгонял меня. Теперь же я решил войти в мастерскую и, если там не будет Кольки, спросить, где он. И вот я вошел в нее, прикрыл дверь, снял шапку и стал у порога.

В полутемном помещении было жарко. Вокруг большого низкого верстака, заваленного инструментами, на липках сидело пять мастеров. Все — тощие, лохматые, в полинявших рубашках, с расстегнутыми воротами, — были похожи друг на друга. Стучали молотки, забивая гвозди в каблуки и подметки, над верстаком плавал зеленый махорочный дым.

У верстака сидел и Колька. Я думал, что он подойдет ко мне, но он только взглянул на меня и, еще ниже склонив голову, поспешно стал пришивать драгвой заплатку на голенище сапога. Длинные волосы его, как у мастеров, торчали



во все стороны, рубашка на спине пузырилась, и он казался горбатым.

В углу на прилавке лежали лоскутки кожи, стояли ящики с железными и деревянными гвоздями. За прилавком стоял Елка-Палка в пиджаке нараспашку, гладко причесанный, чернобородый, с белыми пухлыми руками, и разговаривал с заказчиками. И у него на груди был большой красный бант.

— Елочка, — говорил Елка-Палка, положив руку на грудь, — вы же сами изволите видеть, что все у нас теперь перепуталось и неизвестно, будет товар или нет. По этому случаю душой рад бы, но принять ваш заказ не могу... — Он говорил и провожал заказчика до двери.

Когда заказчик ушел, Елка-Палка поглядел на меня, потом на Кольку и крикнул, обращаясь ко мне:

— Тебе что надо?

— Ничего, — ответил я, дерзко глядя в прищуренные глаза.

— А ничего, так и ступай вон! — Елка-Палка открыл дверь, схватил меня за плечо, крикнул: — Шаромыжники проклятые! — и вышвырнул меня на улицу.

Этой ночью я долго не мог уснуть, все думал, почему же у Ляпкина, Елки-Палки и у всех богачей на груди красные банты. Зачем же делали революцию?

Передо мной словно стоял бледный, худой, лохматый и горбатый Колька. «Пропал ты, пропал», — думал я о нем.

Утром я пошел в очередь за хлебом и на Заставской улице увидел Кольку. Он, в грязном пиджаке, лохматой шапке, шел и поглядывал по сторонам — нес заказчику починенные сапоги.

— Коля! — обрадовался я и подбежал к нему. — Как же ты? Неужели так, по-старому и будешь? Видел, как он меня вчера? — говорил я о Елке-Палке. — Ведь ты пропадешь!

Колька нахмурился.

— Подожди, не торопись. Это не наша революция, а ихняя, буржуйская. У нас про это мастера знают и говорят потихоньку. Скоро время придет, и мы всем буржуям кишки выпустим! — веснушчатое тощее лицо Кольки просияло. — А обо мне не беспокойся, — он усмехнулся и, поджав тонкие губы, пошел от меня, как и прежде, неласковый, неразговорчивый.

Я не понимал, что придет, как придет, и завидовал Кольке, знавшем обо всем больше меня, и радовался, думая: «Нет, он не пропадет».

* * *

На Невском проспекте — обрывки бумаги, окурки, навоз. Солнце над головой, камни горячие.

Два автомобиля, легковой и грузовой, мчатся по проспекту, беспрестанно подавая сигналы. Впереди — легковой, в нем несколько человек в штатском. В грузовике — юнкера в темно-серых шинелях, в широких ремнях.

Юнкера — это будущие офицеры. До революции они готовились защищать царское правительство, царя. А теперь они стали защищать Временное правительство, министров-капиталистов и главного из них, Керенского.



Как-то проходя по Садовой, я увидел на углу Невского проспекта, напротив редакции газеты «Новое время», большую толпу. Люди тесным кольцом окружили открытый автомобиль.

В автомобиле стоял стройный молодой человек в зеленоватом френче и кланялся во все стороны.

— Это Керенский! Керенский! — говорили в толпе.

Тот, кого называли Керенским, снял фуражку и бросил ее на подушку автомобиля. Лоб у него был квадратный, плоский, короткие волосы подстрижены ежиком, маленькие уши плотно прижаты. Левую руку он прижал к сердцу, а правую протянул вперед и заговорил.

До меня долетали только отдельные фразы:

— Свобода... Россия... Война до победного конца!..

Он говорил, словно ловил что-то рукой в воздухе. Мелькали белые зубы, и синеватый подбородок его был подвижен, будто на шарнирах.

Какая-то барынька с букетом в руке пробралась сквозь толпу и бросила цветы в сторону автомобиля.

Несколько цветочков залетело в автомобиль. Керенский взял их, потряс ими в воздухе и крепко прижал к груди.

Рабочих в толпе не было видно. Хлопали в ладоши и кричали «ура!» лишь какие-то нарядные господа в шляпах.

Керенский говорил быстро. Я понял только, что мы должны воевать до конца и победить немцев.

Рядом со мной на панели стояла женщина в стареньком пальто и косынке.

— Вот самому-то ему дать бы винтовку да посадить бы в окопы, запел бы другую песню! — сказала она и, усмехнувшись, пошла прочь. . .

Когда я вернулся домой, у нас в квартире, кроме мамы, никого не было. Она встретила меня и сообщила таинственно:

— Все на Цветочную улицу ушли, на собрание. Говорят, Ленин, самый главный большевик, к нам за заставу придет. Я бы тоже пошла, да квартиру-то ведь не бросишь!

Я взял кусок хлеба, потер его солью и снова побежал на улицу.

По Волковской и Заставской, в сторону Цветочной улицы, шли рабочие группами и поодиночке.

В конце пустынной, только местами мощенной Цветочной улицы, недалеко от обувной фабрики Петрова, на пустыре, обнесенном высоким, но ветхим забором, рабочие поспешно

строили трибуну. Доски забора служили материалом, у многих вместо молотков в руках были булыжники.

Говором, шумом наполнялся пустырь. На заборе повисли и засвистели мальчишки. Скоро народу стало уже так много, что на пустыре становилось тесно.

Внезапно на Цветочной улице появился маленький, зеленоватого цвета автомобиль с откинутым брезентовым верхом. За рулем сидел немолодой солдат в военной гимнастерке, в фуражке с красными кантами.

— Ленин! Ленин! Владимир Ильич! — прокатилось по толпе.

В сером легком костюме, в кепке, чуть сдвинутой с высокого лба, Ленин поспешно шел к трибуне, вытирая платком лицо. Размеренная поступь, наклон головы чуть в сторону...

Народ расступался перед ним.

Я в пяти шагах от Владимира Ильича. Вот он уже подошел к трибуне, потрогал ее рукой — попробовал устойчивость и, улыбнувшись окружающим, легко поднялся на нее по трем крупным ступенькам.

— Долой войну! — говорил Владимир Ильич. — Долой министров-капиталистов! Вся власть Советам!

На пустыре было тихо. Рабочие слушали затаив дыхание, и всем, даже мне, становилось ясно, что все рабочие и крестьяне, немцы и русские одинаково не хотят войны, но буржуи, капиталисты заставляют их воевать, убивать друг друга.

Когда Владимир Ильич сошел с трибуны, рабочие окружили его тесным кольцом и стали передавать ему записки. Он брал их и поспешно совал в боковой карман. Перебивая друг друга, рабочие задавали вопросы Владимиру Ильичу все одновременно, и поэтому он не мог им отвечать, а, раскинув руки, с сожалением оглядывал лица.

Уходил Владимир Ильич с трибуны также поспешно. И опять перед ним народ расступался.

Хлопнула дверка автомобиля, и через минуту машина уже исчезла за углом Заставской улицы.

Как только Владимир Ильич уехал, тотчас же на трибуну полезли одновременно несколько человек, и она зашаталась. Все кричали, но ничего нельзя было понять, только гул разносился, да изредка долетали слова:

— Долой министров-капиталистов!!!

Но вдруг разнесся оглушительный свист.



— Казаки! — долетел откуда-то голос, и толпа качнулась с пустыря на улицу.

Это были не казаки, а юнкера, приехавшие на грузовике, вооруженные винтовками. На бортах грузовика — белые полинялые буквы: «Союз городов». Они приехали узнать, что делается на окраине. Может быть, хотели арестовать Ленина, но, увидя рабочих, бегущих к ним, испугались. Человек в штатском, сидевший рядом с шофером, махнул рукой, и машина на полном ходу умчалась от толпы.

Рабочие смотрели вслед грузовику, сожалея, что не отняли у юнкеров винтовки, выпустили их из рук.

Иными уходили люди с пустыря, нежели шли к нему. Бурной рекой казалась глухая Цветочная улица, но вот постепенно она стала утихать, растекаться на ручейки — улицы,

переулки заставы, чтобы завтра соединиться и хлынуть потоком.

И я уходил с митинга другим. Теперь я понимал, почему Ляпков, Елка-Палка и все хозяева веселые и с красными бантами на груди: их защищают министры-капиталисты, Керенский, но радуются они напрасно. Рабочие победят, ведь их защищают, борются за нас большевики, Ленин.

Я не знал, не представлял, как и что будет дальше. Но мне стало ясно, что всем богачам, всем нашим мучителям наступает конец.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных книгах, об их содержании и оформлении.

Укажите свой точный адрес и возраст.

Пишите по адресу: Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Крутецкий Алексей Константинович

ШКОЛА НЕНАВИСТИ

Ответственный редактор *А. А. Агалов*. Художник-редактор *Б. М. Калаушин*.
Технический редактор *Л. Б. Никитина*. Корректоры *Ю. А. Бережнова* и
К. Д. Немковская.

Подписано к набору 14/IX 1963 г. Подписано к печати 15/I 1964 г. Формат 60 × 84¹/₁₆.
Печ. л. 5. Усл. печ. л. 4,56. Уч.-изд. л. 4,56. Тираж 30 000 экз. ТП-1964 № 464. М-21229.
Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, Д-187,
наб. Кутузова, 6. Заказ № 182. Цена 24 коп.

Фабрика детской книги № 2. Ленинград, 2-я Советская, 7.

